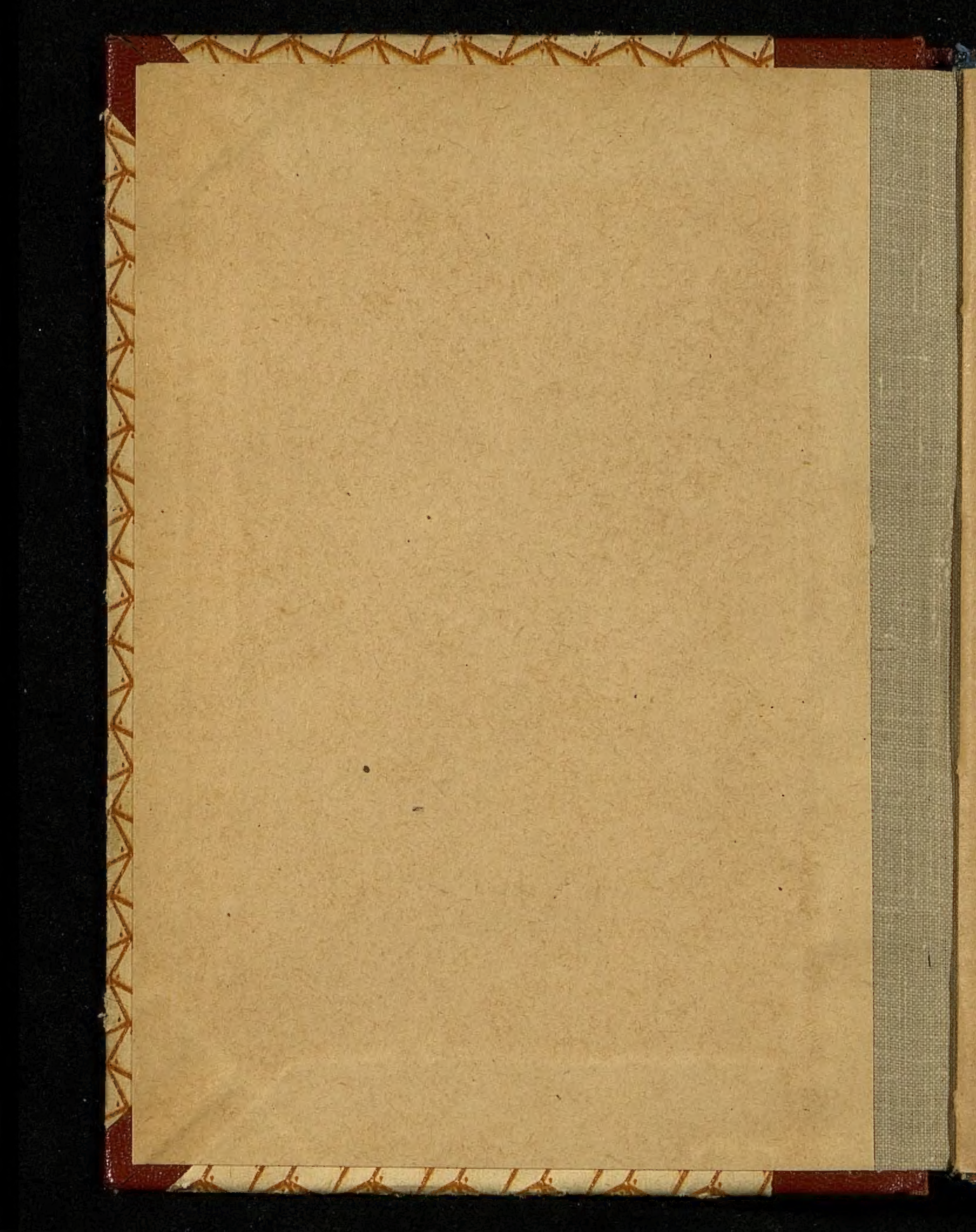
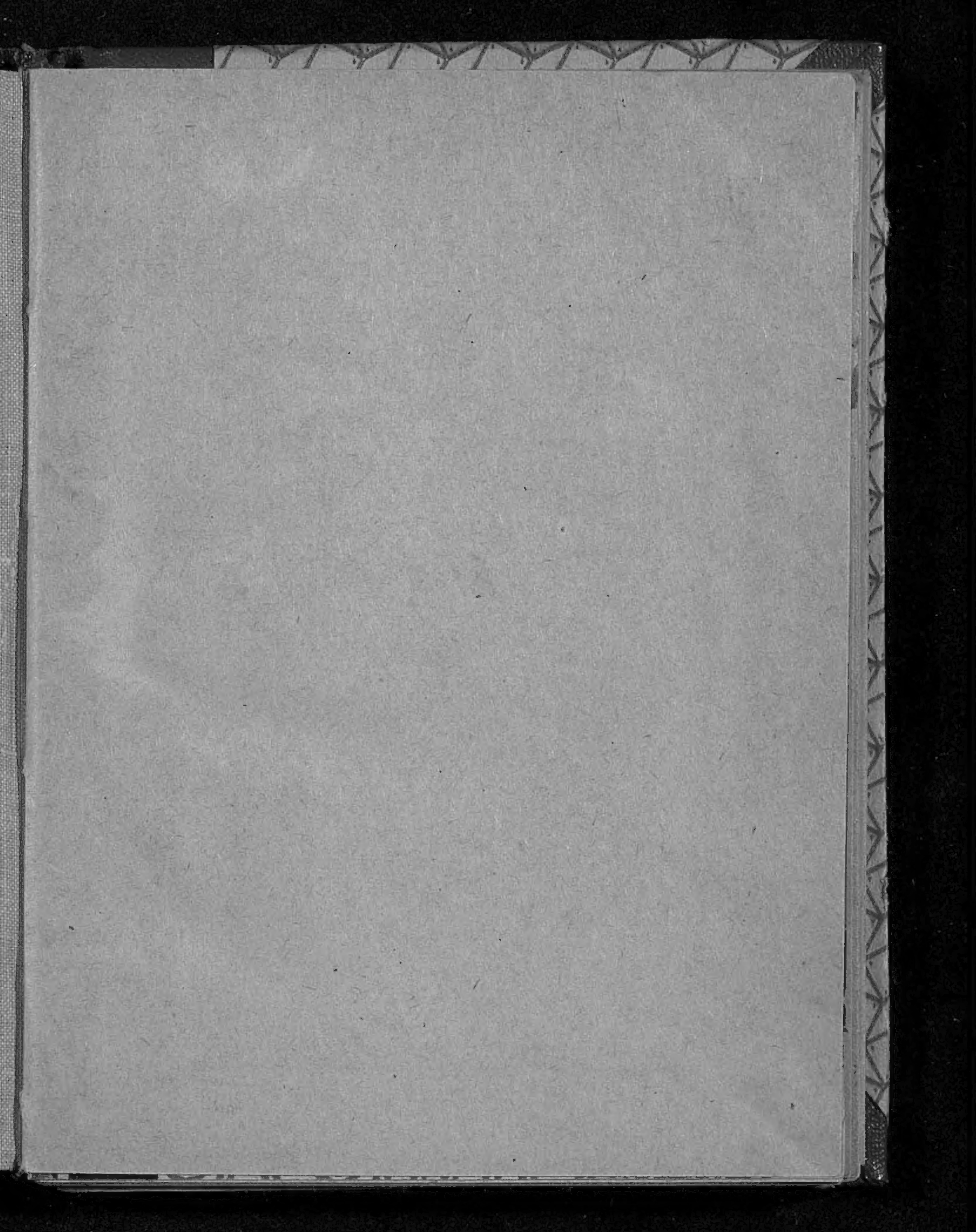
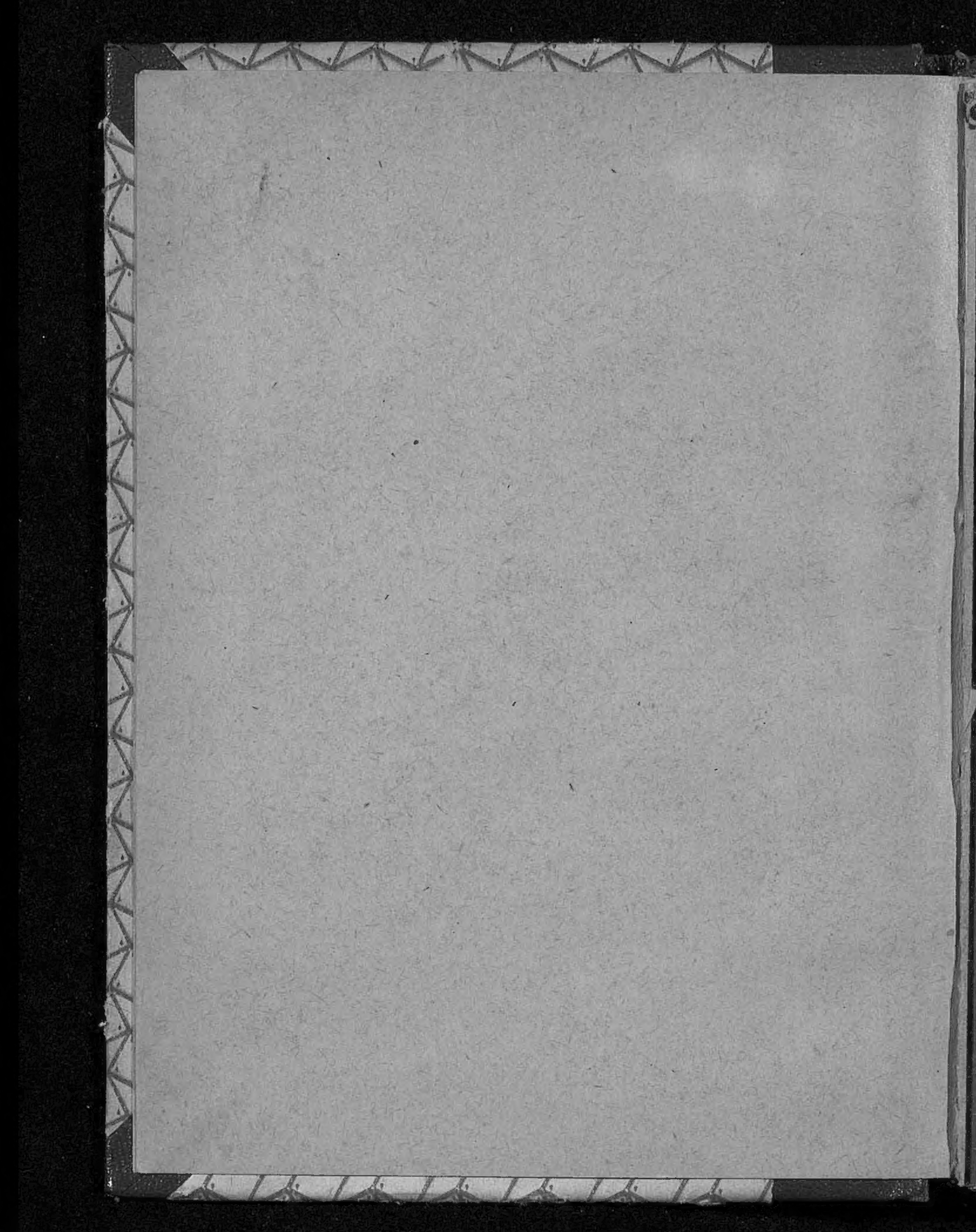
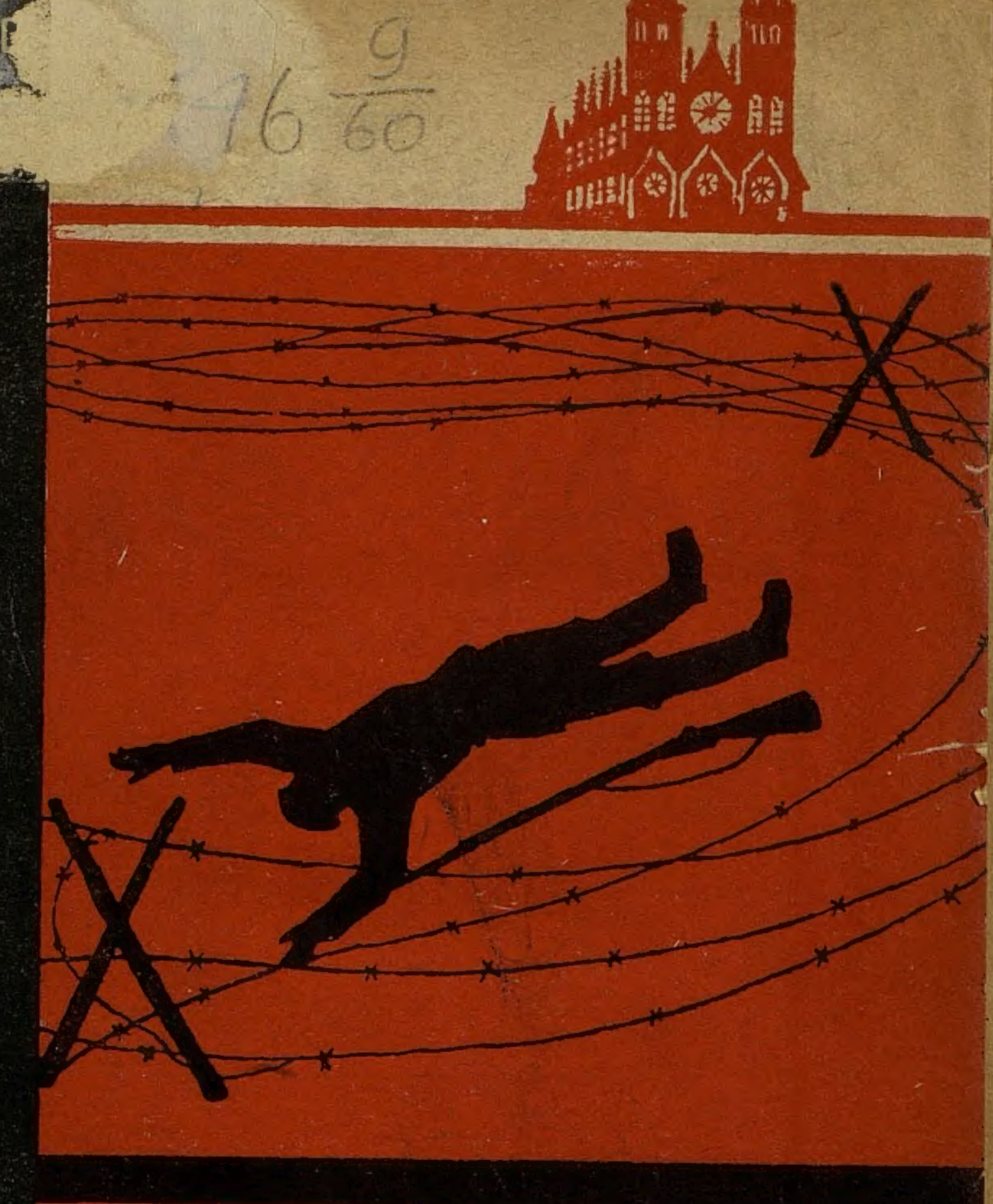








ПРОДАННЫЕ ЗА СНАРЯДЫ

30

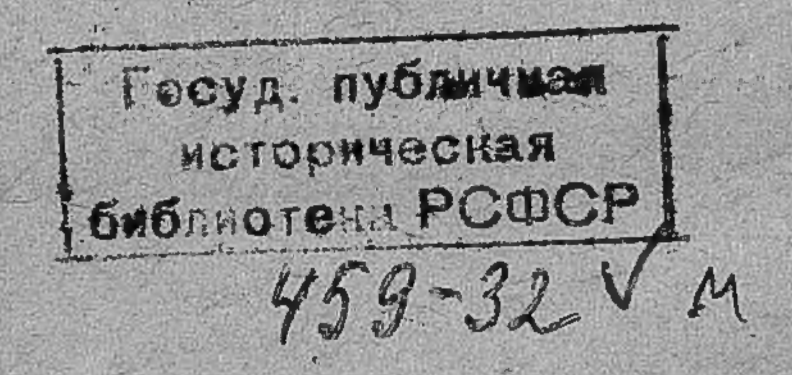


А. КОЗЛОВ

ПРОДАННЫЕ ЗА СНАРЯДЫ

ОБЛОЖКА ХУД. А. УШИНА

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ЛЕНИНГРАД 1931





Типография им. Володарского, Ленинград, Фонтанка, 57.
...нинградский Областлит № 1467. Заказ № 6881. Тираж 50.000.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Империалистическая Франция — организатор интервенции

„... Узнав, — говорит в своих показаниях 31 октября Рамзин, — таким образом, что военным центром по подготовке и руководству интервенции является французский генеральный штаб, я предложил Денисову устроить до моего отъезда из Парижа совместное совещание с генералом Лукомским и полковником Жуанвилем, чтобы обсудить вопрос о координировании деятельности „Промпартии" с французским генштабом в деле подготовки интервенции и восстановить с этой целью связь между ЦК „Промпартии" и французским генштабом". (Обвинительное заключение по делу „Промпартии".)

Является ли связь контрреволюционного „Союза инженерных организаций" с французским генштабом случайным эпизодом, или это звено единой цепи, явление, связанное с целой цепью предшествовавших?

Для того чтобы ответить на эти вопросы, для того чтобы уяснить себе позицию французского империализма к Октябрьской революции, к первому в мире государству рабочих и крестьян, — необходимо обратиться к истории.

Французская армия в первые дни империалистической войны выставила на фронт 2.600.000 штыков и сабель.

За первые полгода война вывела из строя французской армии убитыми и ранеными, больными

и пленными 1.108.000 человек, что составляет 43% первоначального числа боевых единиц.

Иными словами, в течение года весь первоначальный человеческий состав выходил в кровавый тираж, — это обстоятельство было очевидно французскому генеральному штабу. Озабоченный новыми источниками пополнения рядов армии, в поисках новых резервуаров пушечного мяса для великой мясорубки войны, французский империализм обратил свои взоры, вслед за экваториальной Африкой, поставлявшей цветные войска, к России.

Генералы По, Саррайль и Кастельно с самого начала империалистической войны ставили перед царским послом Извольским и военным министром генералом Сухомлиновым проблему переброски во Францию русских полков.

Французское командование цинично намекало на то, что оно не намерено безвозмездно субсидировать военное министерство России военным снаряжением. Бывший начальник штаба Николая Николаевича генерал Янушкевич с досадой заявлял, что французы „за одну автомобильную шину требуют батальон людей".

Весною 1916 года отборно укомплектованные человеческим составом русские полки высаживаются на берегу „прекрасной" Франции.

Французское командование, понятно, и не предполагало, что сознание солдатской массы может круто измениться.

Когда вести о революции дошли до русских полков, закинутых в „свободную" Францию и прошедших основательную политическую школу в окопах Западного фронта, — „святая скотинка" решительно отказалась выстилать траншеи своими телами под градом немецкой шрапнели.

В ответ на движение революционных солдат, в ответ на отказ участвовать в империалистической

бойне, „демократическая“ Франция беспощадно расправилась с русскими полками, расстреляв артиллерией русский лагерь в Ля-Куртин, бросив в тюрьмы и выслав в Африку тысячи русских крестьян, одетых в серые шинели царской армии.

„Русские дивизии во Франции самым фактом своего существования должны были неотразимо свидетельствовать об империалистическом характере войны, которую стремились изобразить обороной отечества. В самом деле, какое отечество обороняли русские в Шампани или под Салониками? — Никакие секретные документы не могли бы лучше раскрыть глаза русской народной массе на истинный смысл войны, которую вел Керенский, чем рассказы товарищей-солдат о том, что они видели и в чем они участвовали. Закопать их в гроб живыми заграницей было нужно для того, чтобы сохранить великую тайну всемирных эксплоататоров. Вот в чем смысл трагедии и Куртинского лагеря и всех последующих“, — пишет М. Н. Покровский в предисловии к сборнику воспоминаний бывших российских солдат во Франции и на Балканах.

Однако, французский генеральный штаб и французский империализм в целом просчитались.

Несмотря на поддержку всех белогвардейских попыток задушить Октябрь, несмотря на интервенцию, в которой чрезвычайную активность проявил французский генеральный штаб, Октябрьская революция победила на одной шестой земного шара и правда о русских полках во Франции стала достоянием пролетариев всего мира.

Ля-Куртинским расстрелом началась история „взаимоотношений“ империалистической Франции с революционными массами русской революции.

Через годы интервенции к вынужденному признанию СССР развиваются эти отношения.

Однако, вынужденное признание СССР не должно скрыть продолжающейся агрессивности французского империализма. „Французский империализм выступает на данном этапе главным организатором антисоветской войны“ (ИККИ). „В тиши канцелярий разрабатываются военные и политические союзы, секретные договоры. Душой всех этих интриг является все та же империалистическая Франция. С конца 1927 или точнее 1928 года руководство подготовкой антисоветской войны фактически стало постепенно переходить из рук английских в руки парижских политиканов“. (Марсель Кашэн).

Линия непрерывна. Французский империализм не смог громом артиллерии заглушить правду о лагере Ля-Куртин. Французский империализм потерпел поражение на полях гражданской войны, но французский империализм и французский генеральный штаб не сложили оружия...

В атмосфере, когда завершение фундамента социализма вызывает бешеную ненависть всех классовых врагов, в атмосфере, когда опасность войны и интервенции с каждым днем нарастает все больше и больше, выход книжки А. Козлова — „Проданные за снаряды“ более чем уместен.

Рядовой участник экспедиции русских полков во Францию А. Козлов, подобно А. Вавилову, Алешину и другим, дает своими простыми страницами в разрезе недавней истории не мало нового обличительного материала против французского империализма. В этом значение его работы.

Бор. Бродянский.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Отъезд из России. — На французском фронте. — Начало революции

Кому было известно, что мы проданы за снаряды? Из нас никому. Только военное министерство да дипломаты Франции и России знали об этом. Но верно хорошо был обусловлен договор о купле-продаже, потому что отбор товара, то бишь русских солдат, производился тщательный. Выбирали высоких, сильных, здоровых, стройных и даже обращали внимание на красоту. Чуть бородавка на лице или оспинка, раздавалась команда:

— „Встань во вторую шеренгу!"

Сколько раз снова просматривали, сменяли одного другим, делали смотры за смотрами! Но вот отбор окончен. Куда же теперь нас? Ничего неизвестно. Крепостных продавали — и то говорили: „пойдешь к такому-то барину". На наши же расспросы — ноль внимания.

Усиленная шагистика, беспрестанная команда: „крепче ногу", стягивание талии, бег, гимнастика и т. п. показывали, что из нас подготовляют что-то необыкновенное. И лишь незадолго до отправки, когда нам поручили до тонкости изучить „Гочкис" (пулемет французской системы), объявили, что мы являемся отрядом особого назначения.

Началась пригонка шинелей, гимнастерок, взводами водили нас в полковую швальню, где неуклюже сшитым шинелям придавали более удобный вид. На каждого заготовлялось по два комплекта обмундирования, как летнего, так и зимнего.

Все эти таинственные приготовления мало кого из нас радовали. Одно было ясно, что нас куда-то угонят, и не очень близко. Начали поступать просьбы об оставлении. Но оказались бесполезными. Правда, некоторым удалось во-время дезертировать.

Командный состав подбирали „заслуженный", — мелькали капитаны, полковники, редко подпоручики и поручики. Младший состав—унтер-офицеры, фельдфебели, подпрапорщики—в большинстве состояли из георгиевских кавалеров и сверхсрочных.

Дня отъезда, как и места назначения, никто из нас не знал. Некоторые из близких местностей стали проситься съездить на побывку, но получили на это категорический отказ. А при сформировании струнного оркестра начальник нашей команды, капитан Анциферов, сквозь зубы процедил:

— Все, сволочи, можете играть, но чтобы я никакой „Тоски по родине" не слыхал!

Когда и пригонка обмундирования была кончена, нас выстроили на полковом плацу в карре. В середине было все начальство, как уезжающее, так и провожающее. Кадил поп со своими поддужными: шел молебен, который длился около двух часов. После речей наших „отцов командиров" и ужина тронулись с музыкой в путь.

Наш пулеметный полк стоял в Ораниенбауме. Повезли нас на Петроград. На всех станциях народ удивленно глазел на нас: обмундированы чисто, подобраны один к одному. В чем дело? Куда это едут?

Через двое суток дотащил нас поезд до Москвы, где мы поместились в Спасских казармах, на Суха-

ревой площади. Здесь было уже много солдат, которые тоже входили в „отряды особого назначения“ и также не знали, куда их везут.

Дальнейшая наша отправка почему-то задержалась. Занятий в Москве с нами никаких не производилось. Водили нас на прогулку по городу с песнями, которые отчаянно заставляли разучивать. Начальство требовало, чтобы мы „оживляли“ песенный „репертуар“ свистом, гиканьем и прочими аттрибутами.

Через некоторое время нам объявили, что мы уезжаем в одно из ближайших воскресений. Вот в этот-то период и пронеслись слухи, что нас отправляют во Францию. Сперва этим слухам не поверили. Но потом узнали, откуда они исходили, и убедились в их правильности. Оказывается, пронюхали об этом музыканты нашего струнного оркестра, и вот как.

Офицеры нашего отряда жили поблизости к гостинице. Однажды оттуда пришло распоряжение — доставить несколько человек с балалайками. У офицеров шла пьянка, и им потребовалась музыка. Со слов офицеров, которые размечтались в пьяном виде о будущей своей жизни во Франции, музыканты и узнали „военную тайну“, то есть место нашего назначения.

Скоро пришло и офицальное извещение об этом. Построили нас всех во дворе Спасских казарм, объяснили, куда мы едем: заявили, что этим нам оказана очень высокая честь и что мы не должны ударить в грязь лицом. Не позже, как через два дня мы должны были выехать. После поздравления с „высокой честью“ закрыли ворота и не стали никого пропускать в город. Наверно начальство все-таки сомневалось, что „высокая честь“ окажется всем по душе. Повидимому опасались побегов.

Часть наших войск уже была отправлена кружным путем — через Владивосток, Японию и Сингапур — в Марсель. Туда пошла наша первая бригада под командой генерала Лохвицкого. Нас же — четыре команды пулеметчиков и небольшую команду самокатчиков — выслали дополнительно. Так как это дело было спешным, а мы уже задержались, обучаясь „Гочкису" и отстали от всей 1-ой бригады, нас послали кратчайшим путем и с „оказией". „Оказией" оказались солдаты, которые стояли в тех же Спасских казармах. Это были 3-й и 4-й полки, которые отправлялись через Францию в Салоники на Македонский фронт и составляли 2-ю дивизию.

Через два дня, в воскресенье, сказали нам опять напутственное слово, провели через всю Москву к Воробьевым горам, здесь сделали посадку и отправили в путь...

В Архангельске погрузили нас и направлявшиеся вместе с нами в Салоники полки на судно „Екатеринослав". Помимо солдат и их груза, грузили большое количество пшеницы. Все удивлялись — куда так много, смеялись: „едем в гости, и со своим хлебом".

В скором времени на буксире нас вывели в море под охраной миноносцев, которые, проводив нас, возвратились потом обратно.

Миновали мы Белое море и, по выражению моряков, спустились в Ледовитый океан.

Начальником транспорта на пароходе был полковник Краузе, снискавший сильнейшую ненависть у солдат. Ходили разговоры, что у Краузе был крупный скандал с капитаном парохода. Капитан обвинял его в подаче каких-то сигналов в то время, когда наше судно проходило самые опасные места, где шныряли немцы. Солдатам казалось подозрительным и то, что Краузе отобрал нескольких пулеметчиков, знакомых с обращением с орудиями

артиллерийского образца, и хотел среди белого дня пострелять из трехдюймовки, стоявшей на корме судна. Капитан воспротивился этому. На расспросы его, зачем это понадобилось Краузе, тот ответил: — „Нужно отогнать акул, которые следуют за судном“.

Пострелять ему, таким образом, не пришлось. У солдат же после этого крепко засело подозрение, что Краузе хочет передать весь транспорт немцам.

Вечером того дня судно шло с большими предосторожностями, были погашены все огни, за исключением боковых сигнальных. Всем нам объявили, чтобы мы были наготове, приказали надеть спасательные пояса.

Судно круто изменило свой курс, повернув под прямым углом на север. Началась буря. Передали, что заметили подводную лодку. Буря увеличивалась. Пароход бросало, как щепку, никто почти не спал.

Так прошла ночь. К утру стихло. Поднявшись на палубу, я увидел ледяные горы, невдалеке вынырнул кит, пуская столбы воды. Судно перешло на прежний курс. Опасность миновала, как со стороны подводной лодки, так и от бури.

Подозрение против Краузе все больше укреплялось. Создались группы, которые хотели его уничтожить. Стали ходить за ним с намерением выбросить его за борт, но он повидимому это заметил, заперся у себя в каюте и до приезда почти не выходил.

По пути нам встретилось несколько английских судов. При встрече они поворачивались к нам и некоторое время сопровождали нас. В Атлантическом океане налетел французский крейсер, стал против нас бортом и навел орудия. Лишь после усиленной сигнализации со стороны нашего судна, орудия крейсера были поставлены на место. После этого

музыка грянула оттуда „Марсельезу“, и на палубу высыпала команда, приветствуя нас. Крейсер повернул обратно и скоро скрылся из виду.

Многие из нас болели морской болезнью, и от питания, состоявшего из консервного супа, галет и чечевицы, большинство отчаянно похудело.

Еще немного, и мы прибыли во французский город Брест. Прибыли с опозданием. Там уже начали беспокоиться за благоприятный исход нашего плавания. Впоследствии мы узнали, что в ту ночь погиб транспорт с лесом и был взорван пароход с углем.

На берегу стояла большая толпа народу, разные представители, в том числе и русские. Судно причалило. Нас всех выстроили на палубе. Вылез священник, начался молебен о благополучном прибытии, запели всем транспортом: „Отче наш“. Но не успели пропеть и пяток слов, как с берега понеслись оглушительные аплодисменты. Французы вообразили вероятно что-то другое. Среди солдат поднялся смех, вся затея пропала, молебен сорвался.

Так прибыли мы во Францию. Встреча носила бурный характер. Бесплатное вино, цветы, сигареты, шоколад. Газеты захлебывались от восторга, описывая не только походку русских, особенности их обмундирования, но и — самое главное — какую ценность мы представляли в военном отношении. С такими, мол, солдатами никакой „бош“ не страшен.[1]

Так французы прозвали во время империалистической войны немцев.

Затопали во Франции солдатские ноги под громкое ненавистное „раз, два, левой, правой, крепче ногу“, и загремела веселая, скрывающая тоску от чужих ушей: „Эх, Дуня, Дуня-я, Дуня, ягодка моя“,

---

[1] „Бош“—термин—враг.

с присвистом, с гиканьем, заставляя французов стоять с разинутыми от удивления ртами.

Начались будни. В Марселе растерзали на клочки полковника Краузе. Прямых виновников не нашли, и дело кончилось тем, что за убийство полковника Краузе расстреляли 11 человек, но действительных ли убийц, в этом можно сомневаться. Взяли их по чьему-то доносу, подслушав их разговор об этом деле. Расстреляли ночью, закопали, не насыпав даже холмика, а лишь воткнули палку, а на ней дощечку, где по-французски было написано: „Убийцы полковника".

Будни перекинулись и в Шампань, Мурмелан, на Марну. Немцы удивились, когда увидели на французском фронте русских. Подумали, что это уловка, маскарад со стороны французов, но безукоризненно чистый „мат" убедил их, что это не маскарад, а действительность. Русские вступили в боевую обстановку, заняв солидный участок на фронте. Шоколад начал приносить доход. Сколько буржуазных сынков смогло теперь остаться спокойно в тылу. Цветы, брошенные дамочками в шляпках, несомненно дешевле стоят, чем драгоценная жизнь их братьев, отцов и мужей. Вино обменялось на кровь.

Царь нас продал оптом, а здесь мы уже пошли в розницу. Замелькали бугорки с православными крестами, с надетой на них фуражкой русского образца, и с надписью: „Здесь лежит Иван такой-то, пал честно в бою". В госпиталях послышались стоны раненых, призывавших в бреду каких-то ребятишек, Мишек и Глаш, и кричавших, что сено сгниет, если его не убрать. Легко раненые долго всматривались в даль, о чем-то мечтая. И не у одного из них вставали вопросы: „Зачем меня сюда забросили? Для чего это нужно?.."

Кроме нашей первой бригады появилась 3-я бригада под командой генерала Мурашевского. По

сведениям, она была направлена в Салоники, но Мурашевский устроил так, что она осталась здесь, и взамен ее в Салоники пошла другая. В ней были 5-й и 6-й полки, скомплектованные в большинстве из башкир, татар и прочих „инородцев". Таким образом во Франции находилась целая дивизия из 1-го, 2-го, 5-го и 6 полков с пулеметными командами. В Салониках, на Македонском фронте, 3-й, 4-й, 7-й и 8-й полки — тоже целая дивизия.

События развертывались быстро и для большинства неожиданно. Услышали мы о Февральской революции. Узнали о приказе № 1, об отмене чинопочитания, а когда пытались вместо „ваше высокоблагородие" говорить „г-н капитан", нередко за такую дерзость попадали на гауптвахту. Начальство отмалчивалось, уговаривало, скрывало, просило не доверять французским газетам.

Потом был бой под Реймсом, где русские показали еще раз свою отвагу, взяв несколько линий немецких траншей, деревушку „Курси" и оставив множество убитых, а еще больше раненых. Солдаты еще не успели организоваться настолько крепко, чтобы не итти в этот бой, а командование нашего отряда, совместно с французским, поспешило ужасом войны приглушить нараставшую революционность солдат, истребив их в бою под Реймсом, как в дробильной машине. Но это был последний бой, где солдаты дрались за интересы чужого класса.

После этого боя нас вывели на отдых в Шампань. Стояли мы в разных деревушках; действовали у нас комитеты, но еще слабые, не оформившиеся. Заседали подолгу, митинговали, на собрания приходилось итти далеко, так как роты обоих полков были разбросаны по всей округе. Из госпиталей мы получали письма от раненых товарищей — писали о безобразном отношении к ним, плохом уходе и лечении, просили помощи.

На одном собрании отрядного комитета присутствовал случайно проезжавший генерал Лохвицкий. Когда начали обсуждать вопрос о положении наших раненых, он возмутился и выступил с опровержением:

— Где только я ни был при посещении госпиталей, везде видел гуманное обращение. Возможно, что отдельные личности своими грубыми выходками вызвали французов на эксцессы.

Подавленный однако большим количеством писем и выступлениями солдат, генерал пробормотал что-то невнятное и удалился со своей свитой.

На этом же собрании окончательно был решен вопрос об устройстве первомайской демонстрации.

В полках прорабатывали наказ делегатам, которых хотели послать в Россию. Большой спор возник у нас в комитете 2-го полка (я в то время был членом полкового комитета), когда встал вопрос, кому же адресовать наказ. Я и один товарищ настаивал категорически, что его необходимо направить Совету солдатских и крестьянских депутатов, а остальные члены комитета — Временному правительству. При голосовании мы остались в меньшинстве.

Меня полковой комитет 29 апреля направил в „Camp de Mailly", где находились слабосильные команды да остатки маршевых батальонов 1-й и 3-й бригад, для подготовки первомайской манифестации. Получил я только удостоверение личности, мандат от комитета полка и кое-какую литературу. Проездных документов не было никаких, что очень затрудняло в пути.

В „Camp de Mailly" к моему докладу в комитете маршевого батальона отнеслись сдержанно. Обсуждения об устройстве демонстрации не отвергли, но и практически ничего не решили. Секрет объяснялся просто: председатель этого комитета, стар-

ший унтер Башилов, писарь, никогда, даже в делах комитета, шагу не смог сделать без разрешения начальства. Секретарем комитета был меньшевик Дробович, впоследствии редактор меньшевистской газеты „Русский солдат-гражданин во Франции".

В слабосильных командах я решил изменить тактику. Придя в комитет, попросил созвать общее собрание и добавил, что приехал по поручению полка. Согласились. Через полчаса барак до отказу был набит собравшимися. Объяснил цель приезда, задачи 1 Мая, необходимость организованно устроить и провести манифестацию, упирая на то, что по бригаде это дело решено и будет выполнено. Посыпались вопросы. После ответа на них приняли резолюцию: „Манифестацию провести, организацию ее возложить на комитет слабосильных команд".

Здесь же был поднят вопрос о расстрелянных за убийство полковника Краузе товарищах. Постановили: сходить 1 мая на могилу расстрелянных, почтить их память, украсить могилу, возвести на ней холмик, а в дальнейшем поставить памятник.

К себе в полк я попал 1 мая поздно вечером. Подъезжая к полку, я услыхал звуки музыки. Придя к себе в команду, узнал от товарищей, что манифестация прошла в строгом порядке. Одна часть офицеров принимала участие, другая нет. Из нашего баталиона не было ни одного офицера. Рассказывали, что начальник нашей команды прибежал к себе чем-то страшно разъяренный, с яростью бросил фуражку в угол, упал на кровать и заплакал. Что значили эти слезы, — никто не знал.

Приехавший со своей свитой на митинг генерал Палицин начал было речь о введении в отрядах железной дисциплины, но был встречен яростными криками солдат. Стараясь немного смягчить сказанное и свалить вину с себя, он заявил, что это

исходит от нового военного министра. Возбужденные солдаты стали плотнее надвигаться на генерала Палицина и его свиту. Послышались отчетливые выкрики: „долой держиморду“, „бей старого бюрократа“, и храбрый генерал, не докончив своей речи, залепетал: „Братцы, мне шестьдесят лет, я лучше уйду в отставку“. Только благодаря прикрытию свиты ему удалось убраться целехоньким.

Некоторое время спустя мы отправили делегатов в Россию, проводили их с музыкой, на автомобилях развевался красный флаг. От нас они везли приветы и поздравления с победой над самодержавием, а также сообщения о наших нуждах и вопрос, как нам поступать дальше. Заброшенные вдали, не осведомленные ни о чем и вдобавок окруженные не друзьями, мы просили совета.

Таково было настроение при проводах делегации. Оно отразилось и в наказе Совету рабочих и крестьянских депутатов. Мы писали, что имеем еще силы для борьбы, если это от нас потребуется, но для борьбы в России.

Отправляя делегацию, мы надеялись, что она выполнит порученное, но получилось обратное. Часть наших делегатов не пропустили, некоторые застряли не-то в Лондоне не-то в Париже, а от тех, которые доехали до России, пользы для пославших их не получилось никакой.

Атмосфера в отряде накалялась, пошли опять собрания за собраниями, недоверие к офицерскому составу возрастало. Офицеры тоже недружелюбно поглядывали на нас. Впечатление было такое, что они притаились, временно притихли и выжидали, думая, что все происходящее скоро минует и тогда они скажут свое слово.

Помню одно собрание в деревне „Конжи“. Председательствовал полковник Жданов. Выступавшие

офицеры говорили, что их оскорбляют словами и демонстративными выходками, что они считают себя обиженными и ни в чем не виноватыми, а потому и сторонятся солдат. А когда им стали напоминать, как они распоряжались раньше, как хлестали по физиономиям, калечили и т. д., — они возмутились: — „Что вы, разве мы себе это когда-нибудь позволяли? Это — напраслина“. Мы свели, здесь же, с глазу на глаз и мордохлестов и пострадавших. Офицерье смутилось, и можно было только удивляться, что начало революции в отряде прошло для офицеров так гладко, несмотря на тяжелую дисциплину при старом режиме и не совсем кроткое отношение к солдатам. Действительно странно, что тогда же „отцам-командирам“ не дали по шапке.

Из-за разбросанности отряда нам было трудно производить организационную и культурную работу. На собрания приходилось ехать верхом или итти пешком, некоторым было далеко, и они поэтому часто на собрания не попадали. Решили поднажать, чтобы нам дали общий лагерь. Через некоторое время пришел ответ, что лагерь дадут. И правда, вскоре был получен приказ выступить.

Наша команда выступала одной из последних. Прошли походным порядком километров 16, пришли на станцию, ехали двое суток. Приехали ночью. Уже при выгрузке прошел слух, что никакого лагеря нет. Действительно, нас опять привезли в деревушку. Все возмущались: — „Для чего потребовалось такое передвижение? Что за смысл был обманывать еще раз солдат?“

Вышло, что сменились только названия деревушек. Переменили мы местность, а пользы никакой. Вшей осталось столько же, та же солома, и квартировали опять так же, где попало.

Было ясно, что командование уже начинало бояться, как бы мы не „заразили“ французские войска.

Потому и решили увезти нас подальше, перекинув с полей Шампани в департамент Вогез.

Наша команда была размещена в деревушке Жанвилот. Расположились кто в хлевах, кто на полях, раскинув палатки, кто в садах и дворах у крестьян.

На наш запрос, почему нас не поместили в лагерь, последовал ответ, что в том лагере, куда нас хотели направить, — эпидемия.

Как-то в нашу команду пришло сообщение, что приехал уполномоченный от Временного правительства. Он находился в 1-м полку и на другой день должен был быть у нас. Рано утром я отправился верхом на полковое собрание. При открытии собрания в председатели опять попал полковник Жданов. Часов около одиннадцати подъехал автомобиль, из которого вышли два человека: один — еще сравнительно бодрый старик, другой — средних лет. Оба представились: уполномоченный Временного правительства Евгений Рапп и его помощник Морозов.

Уполномоченному предоставили слово. О говорил о своей миссии, о том, что он уполномочен Временным правительством узнать, в каком положении находится наш отряд, и что ему дано право только передавать наши просьбы Временному правительству, а также освещать происходящее в России. Распоряжений же никаких он отдавать дескать не может, так как для этого существует военный комиссар генерал Занкевич. Потом отрекомендовал своего помощника Морозова, как одного из боевых деятелей революционного движения.

На этом собрании каждой роте и команде было предоставлено только по одному решающему голосу. Первые мелкие вопросы прошли гладко, но когда стали разбирать вопрос о нашем возвращении в Россию — обсуждение приняло бурный характер. Этот вопрос уже поднимался до того неоднократно,

и на маевке были даже специальные лозунги: „В Россию“. Поэтому первые же выступившие на собрании так и начали:—„Как и когда нас вернут в Россию?“ За ними все, в один голос, в своих речах категорически требовали отправки в Россию и больше никуда. Здесь впервые раздались голоса: „На фронт больше не пойдем и воевать не будем“.

Обсуждался этот вопрос больше двух часов, и прения он вызвал такие, что они явно пришлись не по нутру „господину уполномоченному“. Он, не сделав никакого заключения, поспешил уехать под предлогом, что ему нужно куда-то по срочному делу, и пообещал снова приехать через день.

Собрание все-таки было небесполезно: многим оно показало, что нужно не ожидать какой-то милости, а требовать.

В следующий раз Рапп вместо обещанного „через день“ приехал только через четыре дня. На второе собрание помимо делегатов пришло много народу, а некоторые роты явились чуть ли не в полном составе. По адресу комитета поднялись крики недовольства, так как в помещение, где происходило собрание, могла вместиться только незначительная часть явившихся. Пришлось, несмотря на сильную жару, проводить собрание на открытом воздухе.

Прения снова сразу же приняли крепкий характер: „В Россию, и больше никуда,—только и слышно было.—Довольно, повоевали!“

В конце собрания стали выступать подпевалы из числа комитетчиков. Они пробовали уговаривать солдат, что, мол, „нам здесь не так уж плохо, да нас не очень и обижают“. Но им говорить не дали, так как солдаты поняли, что они хотят смазать основной вопрос о возвращении в Россию. Попробовавшего их поддержать Раппа постигла та же участь: ему также не дали говорить. Комитету вынесли недоверие, после этого собрание закрылось.

Комитет оказался вынужденным сложить с себя полномочия. Вопрос о поездке в Россию предоставлено было решить по ротам и командам. На другой же день стали разбираться протоколы рот и команд по вопросу о возвращении в Россию. Большинство, правда незначительное, высказалось в вопросительной форме — уполномоченного Е. Раппа обязали запросить: „Возможно ли наше возвращение в Россию, и если нет, то почему?“ Добавили, чтобы он сделал это немедленно. Он обещал это сделать и уверял, что как только вернется в Париж, сейчас же пошлет телеграмму по этому вопросу...

Евгений Рапп уехал. Все остались в ожидании. И вдруг через некоторое время издается приказ: „Приступить к занятиям“. В полку началось волнение, все возмущались. Ведь еще не успели как следует отдохнуть, нельзя же было назвать отдыхом переброску из одной деревни в другую! Кроме того приказ о занятиях вызывал законные подозрения — сперва занятия, а потом заведут речь о том, не пора ли снова на фронт.

На очередном собрании поэтому решили к занятиям не приступать и категорически требовать отправки нас в благоустроенный лагерь, что и было объявлено высшему командованию. У нас была одна неотвязная мысль: мы думали, что если нам дадут лагерь—мы сумеем лучше сорганизоваться. Когда будем вместе, всей бригадой, будет больше шансов на то, чтобы добиться своих целей.

Через несколько дней пришел ответ, что лагерь будет дан, но мы на этот раз решили быть более осторожными. Прежде чем ехать всем, выслали от себя комиссию для проверки, действительно ли нас отправляют в лагерь, а не в деревушки опять. Вскоре от комиссии была получена телеграмма: „Лагерь удобный, подходит по всем условиям“.

Затем пришел приказ выступать. Солдаты двинулись в путь, не предчувствуя, что их ждет и что им придется пережить в долгожданном лагере. Ехали сутки, на вторые, после полудня, прибыли на место. Лагерь носил название Ля-Куртин. Находился он недалеко от города Лиможа департамента Ля-Крез.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Ля-Куртин

По прибытии в Куртин пехотные роты разместились в каменных казармах, а остальные в бараках и палатках. Но солдаты были довольны лагерем — он отвечал всем солдатским потребностям, а самое главное—все были вместе.

На другой же день на собрании опять был поднят вопрос о возвращении в Россию и о том, почему нет ответной телеграммы от Временного правительства. Вечером был устроен митинг. Выступавшие резко подчеркивали в своих речах, что высшее командование, несмотря на все обещания, ведет прежнюю тактику. Митинг закончился манифестацией.

3-я бригада, которая тоже только-что прибыла в Куртин, в большинстве своем присоединилась к требованию нашей бригады о возвращении в Россию.

В лагере снова всплыл вопрос и о занятиях, так как начали поступать сведения, что командование собирается приступить к ним. И на самом деле, через несколько дней, об этом был отдан приказ.

В нашей 4-й Пулеметной команде была вынесена примерно такая резолюция: а) По вопросу о поездке в Россию дожидаться пока ответной телеграммы от Временного правительства, но напирать на Раппа,

чтобы ускорить решение этого вопроса. б) По вопросу о фронте (мнения тут разделились, одна часть — небольшая — говорила, что мы отказываемся не от войны, а только от французского фронта, на русский же пойдем; другие отказывались категорически) в конце концов решили, до прихода ответа от Временного правительства, от фронта отказаться. в) По вопросу о занятиях — заниматься, чтобы не бездельничать, но только не военными занятиями, а культурно-просветительными". В нашей роте все находили, что военная зубрежка ни к чему, так как в отряде — солдаты старые, и, когда потребуется, достаточно будет и одной-двух недель, чтобы все повторить.

В некоторых ротах приказ о занятиях приняли как подготовку к ближайшей отправке на фронт.

После собралось отрядное собрание обсудить вызвавший споры вопрос. Отрядное собрание постановило: на занятия не ходить. По окончании собрания прошли с музыкой и флагами по всем полкам, извещая всех о принятом решении.

Бригада на занятия не вышла, а вечером в отряд прикатили все офицеры, в том числе и генерал Занкевич вместе с уполномоченным Е. Раппом. Их уговаривания были прерваны посыпавшимися со всех сторон вопросами: — Почему нет ответной телеграммы и послана ли она? Почему не принимаются меры к устранению беспорядков в хозяйственной части?

Так как фактически здесь было уже выражено недоверие Раппу как комиссару и уполномоченному Временного правительства, генерал Занкевич выразил согласие лично послать телеграмму Временному правительству все с тем же вопросом — возможно ли наше возвращение в Россию, и если нет, то почему? Занкевич, ничего не добившись и пообещав все выполнить, уехал.

Каково же было удивление всех нас, когда на другой день мы получили приказ следующего содержания:

ПРИКАЗ

по 5-му Особому пехотному полку, № 207, от 25/8 июля,
лагерь Ля-Куртин

При сем объявляю копию приказа по русским войскам во Франции с. г., за № 15.

1. Среди русских войск 1-й Особой пехотной дивизии возник раскол: одна часть солдат высказалась за безусловное подчинение всем требованиям Временного правительства, а другая официально заявила мне, что согласна сражаться только на русском фронте. Об этом я сегодня донес Временному правительству с ходатайством указать мне, какую точку зрения я должен установить на эту последнюю группу и, в частности, как я должен решить вопрос относительно дальнейшего денежного и прочего довольствия солдат этой группы. В виду создавшегося положения, при дальнейшем обострении отношений обеих групп, приказываю солдат, высказывающихся за безусловное подчинение требованиям Временного правительства, вывести из лагеря Ля-Куртин. При солдатах в лагере Ля-Куртин офицеров оставить по моему назначению.

2. Награждаю знаком отличия ордена святой Анны солдат: 2-го полка Михаила Денисова, 1-го полка фельд. Балагина и солдата Гофмана, санитара Крестовоздвиженского лазарета Александра Тоболева, за охранение 23 июня личным мужеством офицера от эксцессов толпы.

Подл. подписал: Представитель Временного правительства при главной квартире французской армии.

Генерал-майор Занкевич.

Подписал: Командир полка
полковник Нарбут.

Направились мы было к генералу Занкевичу за разъяснением, но он уже уехал в Париж. Обратились к офицерам. Что значит этот приказ? Как его нужно понимать? Они ответили, что это пустяки, что генерал Занкевич разводит солдат только на время, для того чтобы узнать их настроение, а потом соединит всех вместе.

На собраниях встал новый вопрос: уходить или оставаться в Куртине, подчиняться приказу Занкевича или нет?

Когда у нас в команде было принято решение остаться в Куртине, вошел начальник команды поручик Сагатовский и на вопрос, как он думает — остаться или уходить, ответил, что сам он еще не знает, как поступить, вопрос этот мол будет еще обсуждаться на офицерском собрании, после чего он и сможет ответить. Поручик ушел, с тех пор мы его и не видели, лишь потом выяснилось, что у офицеров было собрание до этого, ночью и вопрос был предрешен.

Из солдат по всей бригаде ушли немногие — 20 — 30, а то и меньше человек с роты. Из нашей роты ушли например всего только двое. Большинство 3-й бригады тоже осталось в Куртине.

Солдаты уходили группами, по несколько человек, как бы стыдясь того, что откалываются. Правда, иные „верноподданные" покидали лагерь с нахальными усмешками. Так произошел раскол.

Оставшиеся в Куртине поддерживали полный порядок. Жизнь пошла полным ходом без начальства.

В отрядный комитет пришло извещение о необходимости назначить ординарцев для связи между Куртином и Фельтеном, где расположились ушедшие. Службу ординарцев нужно было нести конным командам. Первая очередь выпала на нашу команду. Высланный от нас в Фельтен товарищ поехал туда с какими-то бумагами. Он вернулся оттуда без лошади и рассказал, что как только он приехал в Фельтен, его окружили несколько солдат и офицеров и стали отнимать лошадь. Когда же он заявил, что он ординарец и выслан для связи по просьбе же из Фельтена, его стащили с лошади с криком „шпион", обыскали, избили и с руганью отправили пешком обратно.

Отрядный комитет послал запрос в Фельтен — что это, мол, за тактика? А оттуда пришел ответ в виде приказа: дескать всякий, приехавший в Фельтен верхом, в каких-либо повозках, на велосипедах, в автомобилях, немедленно будет возвращен обратно, а то, на чем он приехал, у него будет отбираться.

Тут-то и сказалось, как сильно ошибся ген. Занкевич вместе со своими присными, ожидая, что его приказу подчинится большинство и что неподчинившихся останется небольшая кучка. Подчинившиеся, по его расчетам, должны были захватить все имущество, после чего небольшой кучке бунтовщиков ничего не могло оставаться, как вернуться снова к начальству. Вышло однако наоборот: с генералом Занкевичем оказалась небольшая кучка. Она принесла к нему только свои вещевые мешки, это было все имущество в Фельтене, так что начальству не на чем стало передвигаться.

У нас стали по ночам воровать лошадей, пришлось выставить часовых у конюшен. Кроме того проникавшие из Фельтена в местечко Куртин люди устраивали дебоши и провоцировали, что это делают куртинцы, чтобы восстановить население против оставшихся. Но это плохо удавалось, — жители видели спокойное поведение оставшихся в Куртине.

Изредка к нам наведывался поручик Мериманов, исполнявший должность казначея. Приказом давно прошло добавочное жалованье, также на суточные деньги списки давно были поданы. Мы спрашивали Мериманова, — думают ли нам выдать наши деньги. Он как-то раз ответил, что на следующий день поедет за деньгами, а дня через два приедет и будет их выдавать. Уехал, и с тех пор мы его, а тем паче денег, не видели. Раза три посылали в Фельтен списки на жалованье, но результат был прежний. Находившиеся же в Фельтене все получили жалованье полностью.

Из Фельтена скоро приказали выдать все производство, оставшееся в Куртине, но получили от нас отказ. Потом вторично потребовали выдачи всей канцелярии, мотивируя тем, что якобы нужно произвести подсчет, чтобы выдать нам деньги. И в ответ на это мы никаких документов не выдали, а предложили фельтенцам приехать и произвести подсчет в присутствии комиссии, назначенной из куртинцев. В Фельтене на такое предложение не согласились. Тогда писаря и комиссия из куртинцев, забрав денежные ведомости, отправились в Фельтен, но денег все равно не получили. После этого еще более усилились подозрения куртинцев, что делопроизводство было нужно начальнику для того, чтобы уничтожить следы своих прежних растрат. Недаром еще раньше солдаты, при проезде офицеров в автомобиле, бывало кричали им вслед: „тут и наша доля есть".

В Фельтене шло беспробудное пьянство, деньги выдавались очень часто — авансом в счет чего-то. В Куртине почти ни у кого не было ни сантима, все ощущали недостаток. Из Фельтена в Куртин к некоторым ребятам стали от земляков приходить письма с описанием хорошей жизни и с уговорами: „Товарищи, вы заблудились" и т. д. Слабые, прельщенные житьем фельтенцев, их вечной пьянкой и сытостью, стали убегать к ним. И наоборот, некоторые из Фельтена бежали в Куртин, вероятно от „ласкового обращения" и всех прелестей житья под палкой.

Для прибегавших из Куртина в Фельтене образовали специальную команду, которая носила название „сумасшедшей", где солдат „исправляли", обращаясь с ними, как со скотом. Немудрено, что если кто еще имел в себе силы, плевал на все и снова бежал к нам.

Кроме того, в Фельтене завели „черную книгу", куда записывали, как там выражались, „вредный

элемент", который не был еще в руках начальства, но который при поимке должен был быть судим. Часть уже записанных в эту книгу была приговорена заочно — кто к каторжным работам, кто к другим наказаниям. Никакой следственной комиссии не было, фактического материала — тоже, доносили кто что хотел — и по личной злобе и по чему хочешь. Никто из приговоренных конечно не обращал на это внимания и продолжал делать свое дело...

Однажды, из Фельтена прибыл приказ, в котором говорилось о получении телеграммы от Временного правительства и который иначе, как ультиматумом, нельзя было назвать:

Копия

ПРИКАЗ № 1

по русским войскам во Франции, № 34. 17/VII 1917 года

гор. Париж.

15-28 июля мною получена телеграмма военного министра г. Керенского за № 3172, где вопрос возвращения войск наших, здесь находящихся, в Россию решен категорически отрицательно. Наоборот, Временное правительство предусматривает по стратегическим обстоятельствам возможность отправки 1 Особой дивизии на Салоникский фронт. В той же телеграмме мною получен следующий приказ: ввиду брожения и нарушения дисциплины в 1 русской бригаде во Франции, военный министр находит необходимым восстановить в этой части порядок самыми решительными мерами, не останавливаясь перед применением вооруженной силы и руководствуясь только-что введенным положением о военных революционных судах с правом применения смертной казни. Подчинение 1 бригады воинскому долгу возлагается на 2 бригаду, дабы избежать, если возможно, вмешательства французских войск.

Военный министр приказал: Приказываю привести к повиновению 1 русскую бригаду на французском фронте и ввести в ней железную дисциплину. В частях, пользующихся свободой собраний для неповиновения распоряжениям командного состава, собраний не допускать. Преступные элементы, вносящие разложение, немедленно изъять и предавать суду, ввести военно-революционные суды и не останавливаться перед применением в крайности смертной казни по приговору суда. Во исполнение сего даю срок 48 часов, с тем, чтобы солдаты лагеря Ля-Куртин сознательно изъявили полностью свою покорность и подчинение всем приказам и распо-

ряжениям Временного правительства и его военных представителей. Требую, чтобы в знак изъявления этой покорности и полного подчинения солдаты в полном походном снаряжении, оставив огнестрельное оружие на месте, выступили из лагеря Ля-Куртин на место бывшего бивуака 2 бригады при ст. Клераво. Данный мною срок кончается в 10 час. утра в пятницу 21 с/июля. К этому сроку все вышедшие из лагеря Ля-Куртин должны построиться на указанном выше бивуаке в полном порядке по полкам и по-ротно. Все те, которые останутся в лагере Ля-Куртин, будут рассматриваться мной, как бунтовщики и изменники родине, в отношении их я приму немедленно все предоставленные мне решительные меры. Предупреждаю, что только указанный выход из лагеря Ля-Куртин я буду считать единственным доказательством изъявления покорности и подчинения. Никакие условные просьбы и заявления мною не принимаются. Военно-следственной комиссии, образованной генерал-майором Николаевым, согласно приказу моему за № 33 параграф 4, предписываю немедленно приступить к производству следствия.

Подлинный подписал: Генерал-майор Занкевич.

С подлинным верно: Подполковник Пац-Померанский.

Из этого приказа было видно, что требовалось только одно: иди и не рассуждай, превратись снова в „серую скотинку", а иначе — суд и смертная казнь. Солдаты, обсудив создавшееся положение, решили из Куртина не уходить. Куртинцы рассуждали так: приди-ка к начальству без оружия, оно заберет тебя голыми руками.

Головка комитетчиков, как-то: Балтайс, Волков и Гусев—председатель 2-го полка — и еще несколько человек однако струхнули и, захотев показать свою преданность Временному правительству, решили уйти из Куртина без оружия. Они рассчитывали вероятно, что за ними уйдут и многие другие. Но масса думала иначе, для нее борьба только начиналась.

Ощущалось приближение вооруженного столкновения, а это было не по нутру таким меньшевистским натурам, какими выказали себя Балтайс, Волков и прочие. В комитете, который был не чем иным, как говорильней, они бросали красивые слова

и жесты, но когда начальство рассердилось и строго потребовало подчинения себе и доказательства преданности Временному правительству, — беспрекословно ушли к своим господам. С ними из отряда ушло человек 80—90, не больше.

Конечно, уход группы Балтайса и Волкова внес сомнения в ряды куртинцев, но в комитете отряда нашлись стойкие товарищи во главе с Глобой, которые призывали не обращать на это внимание и продолжать свое дело. Скоро стало известно, что ушедшие — Балтайс, Волков и иже с ними — были арестованы сейчас же по прибытии в Фельтен и переданы в распоряжение военного прокурора Лисовского. Волк знал свое дело, хотя и прикидывался овечкой.

Новая головка комитета, возглавляемая Кидяевым, стала на путь изыскания выходов из создавшегося положения, хотя бы при помощи компромиссов. Через два дня после получения ультимативного приказа за № 34, под предлогом освобождения ушедшей и арестованной группы Балтайса и Волкова, отрядный комитет постановил выйти на соединение на ст. Клераво. Остались только те, кто не пожелал итти на соединение, кто находил это ненужным и нецелесообразным. В числе непожелавших итти на соединение был и я.

Я и многие из оставшихся рассуждали так: „по душам — так по душам, по ушам — так по ушам“, или мы добьемся своего, или нас отправят к нашим прадедушкам ознакомиться с подпочвенным грунтом французской земли.

Благодаря приказу отрядного совета на соединение пошло большинство.

Утром 23 июля дежурный по команде разбудил товарищей, все стали собираться. Я и еще с десяток ребят не одевались. Собравшиеся выпили кипятку, зарядили браунинги и наганы. Некоторые привесили гранаты под шинели.

Подошли к нам, спросили, почему мы не собираемся на соединение. Ребята ответили.

Подошли ко мне:

— Саша, если не можешь итти из-за того, что болен (у меня в то время болела нога), скажи, сейчас же заседлаем коня, поедешь верхом.

— Не из-за того не иду, что болит нога, — ответил я, — а потому, что не вижу оправдания этому...

Меня поддержали другие, не желавшие итти на соединение, сбросили шинели и тоже не пошли.

Раздался сигнал выходить и строиться, ребята заторопились, пристегивая на ходу лишние гранаты и забирая обоймы патронов про запас. Зазвучали оркестры, и мы, оставшиеся, увидели, как стройные колонны куртинцев равномерным шагом стали удаляться от лагеря Ля-Куртин в сторону Фельтена.

Мы зарядили свои карабины, положили их на постели, приготовили несколько десятков гранат и стали ожидать.

Наши ожидания и опасения оказались не напрасными. Не прошло и получаса, как показался отряд, который прошел через лагерь и рассыпался в цепь за лагерем по направлению к станции Клераво, куда ушли наши товарищи на соединение. Вскоре за этим проскакал офицер из лагеря Фельтен. Мы, чуя недоброе, зарядили „гочкисы“ и расставили их у дверей и у окон барака.

Прибежавшие к нам повара просили оказать им помощь, так как приехавший из Фельтена офицер хотел забрать и увезти в Фельтен кухни с готовившимся обедом. Мы им посоветовали вернуться и попросить офицера и тех, кто с ним, повернуть свои головы в сторону наших бараков. Повара ушли. Мы же высунули несколько пулеметов из окон и направили их на группу приехавших отбирать кухни. Когда те увидели предстоявшее им угощение, они круто

повернули своих лошадей и ускакали вон из лагеря, не солоно хлебавши.

Приезжали они, оказывается, не только за кухнями, но хотели забрать и палатки и кое-что другое. Ничего сделать им однако не удалось.

Через восемь часов ушедшие на соединение товарищи вернулись. Песни, которые они пели при своем возвращении, показывали, что все прошло сравнительно благополучно.

Солдаты нашей команды вернувшись рассказывали, что, когда они пришли в назначенное место, их встретил генерал Лохвицкий, который попросил их пройти дальше, где 3-я бригада ожидала прибывших на соединение. Пройдя еще немного, они увидели отдельные группы людей, которые стояли по краям дороги, встречая наших солдат недружелюбными взглядами и возгласами. Наши обратили внимание на множество расставленных постов и полевых караулов, а также на пулеметы в кустах. При пулеметах находились офицеры. Вся эта боевая обстановка очень удивила наших ребят. Возникал вопрос: для чего это? Неужели для того, чтобы соединение было к р е п ч е?

Наши развернулись вдоль дороги. Приехал полковник Котович, отдал приказание, чтобы пришедшие полки располагались на новом месте и добавил, что для них будут привезены палатки и кухни с готовым обедом. Он уже начал было указывать, где какой роте и команде размещаться. Но солдаты возмутились этим и заявили, что они туда пришли совершенно не за этим, а потому сейчас же уходят обратно.

Тут подъехал ген. Занкевич, который обратился к солдатам с благодарностью за то, что они пришли.

— Можете итти обратно, — так закончил он свое обращение, — я сейчас прикажу офицерам, чтобы

они вернулись по своим ротам и командам и заняли прежние места.

Куртинцы построились и пошли. Они отчетливо слышали, как офицеры, которым ген. Занкевич приказал вернуться и занять места в ротах и командах, заявили: „Пусть нас разжалуют в рядовые, пусть с нами сделают, что хотят, даже расстреляют на месте, но обратно мы на свои места не пойдем — не хотим слышать большевистского духа“. Распоряжение ген. Занкевича таким образом оказалось недействительным, никто из офицеров на свои места не вернулся. Правда, в 1-й полк вернулись три офицера, но, пробыв в лагере одну ночь, уехали. Не иначе как пари держали перед своей братией-офицерией, что не побоятся провести одну ночь с нами.

Жизнь в лагере потекла обычным порядком. Скоро генерал Занкевич прислал приказ, в котором сообщалось, что до 2 августа нам будут уплачены деньги, причитающиеся по тыловому окладу, и что мы переводимся на тыловой рацион питания. Доступ в местечко Куртин и окрестные деревушки закрыли. Кольцо начало сжиматься все теснее, лагерь оказался изолированным.

Все это подействовало угнетающе на некоторых куртинцев. Невыдача денег, уменьшение рациона, перспектива голодовки, угрозы бывшего начальства, неизвестность исхода заставили еще часть солдат, хотя правда очень незначительную, уйти из Куртина в Фельтен. Уходили бесхарактерные, слабовольные: одни — по темноте своей, по старой привычке подчиняться, другие — из-за шкурнических интересов. Некоторые уходили открыто, говоря, что правда на стороне куртинцев, но что они не в силах итти против всемогущего начальства. Кое-кто уходил ночью, тайком, хотя с нашей стороны уходящим никаких репрессий не было: хочешь — уходи, хочешь — будь с нами.

Оставшиеся решили держаться до конца.

Видя, что наше положение все ухудшается, мы решили послать делегацию в Россию, в надежде, что нас вырвут из „прекрасной“ Франции, то бишь французской буржуазии.

Обратились с просьбой к французам, но, как и следовало ожидать, они нам отказали.

Зато через некоторое время от фельтенцев был послан в Россию делегатом некто Гарнушкин, бывший солдат нестроевой команды, известный подпевало офицерской братии. С какою целью и какие задания ему были даны, — мы не знали. Узнав о том, что у нас происходят занятия, фельтенцы забеспокоились. Они подозревали, что мы хотим поднять вооруженное восстание, наши занятия рассматривали, как подготовку к нему.

Вскоре от отрядного комитета было получено извещение, чтобы все роты и команды при караульной форме вышли на плац лагеря Ля-Куртин для приема приехавшей из России делегации от 2-й арт. бригады.

Через полчаса все уже были на плацу, выстроились в каре. Прибывшая делегация передала привет с родины и сообщила, что она уже была в Курно в лагере, куда перевели всех ушедших из Куртина, где им про нас наговорили, что у нас — полнейший беспорядок, что в Куртине — скопище хулиганов, бездельников и бандитов. Делегации советовали даже не ездить к нам, но, приехав к нам, она убедилась в противоположном и нашла, что порядка у нас пожалуй больше, чем в Курно.

Делегаты рассказали обо всем, что делалось в России, и обещали поехать вслед затем к генералу Занкевичу и сделать все зависящее от них в наших интересах. На прощанье они просили нас держать себя так же, как до сих пор, подтвердив, что мы хорошо сделали, не сдав своего оружия.

Все это было хорошо, но нам было одно непонятно: мы ставили вопрос о возвращении нашего отряда в Россию, а Вр. правительство, наоборот, почему-то присылало войска во Францию. Неужели в России развелось столько войск, что их не знают куда девать? Присылались артиллерийские части. С каких это пор русская артиллерия стала лучше французской? Разве без нее на Западном фронте не могли обойтись? Очевидно была тут новая комбинация купли-продажи.

Когда уже кончался митинг, на трибуну вскочил комендант лагеря подполковник Гринфельд и закричал:

— Товарищи, по нашему лагерю сейчас будет открыт артиллерийский огонь из французских батарей, которые уже расставлены на вершинах гор, — это мне сейчас сообщили по телефону.

Один из делегатов поднялся на трибуну.

— Успокойтесь, товарищи, — сказал он: — французское правительство не позволит стрелять по союзным войскам, так как оно несет ответственность перед русским правительством.

Это нам и без того было известно, но разве два правительства не могли сговориться друг с другом о расправе над нами?

Делегация уехала от нас.

В нашем отрядном комитете произошли некоторые изменения. Заболел и выбыл из лагеря в госпиталь дипломатический председатель Кидяев. На его место выбрали т. Глобу, стойкого и здравомыслящего парня, правда по образованию далеко отставшего от юриста Балтайса, но честно улавливавшего, на чьей стороне правда. [1]

Произошли изменения и в полковых и ротных комитетах. После ухода группы Балтайса пришлось

---

[1] Тов. Глоба в настоящее время работает на одном из заводов Сов. Украины, член ВКП(б); Балтайс находится в Латвии и служит чиновником в министерстве иностранных дел.

сделать довыборы. От нашей команды послали меня в полковой комитет 2-го полка, где на первом же заседании избрали председателем, взамен ушедшего с Балтайсом Гусева. Одновременно я остался председателем и в команде. В полковом комитете подобрались дельные ребята, часть из них были рабочие, твердо решившие, что лучше растаться со своими головами, чем с тем, что в этих головах имеется...

Через несколько дней делегаты вернулись от генерала Занкевича и выступили в отрядном комитете. Они снова подтвердили, что мы совершенно правы и все делаем хорошо. Но каково же было наше удивление, когда они сказали, что мы должны сдать оружие! Это было для всех нас сюрпризом.

Мы категорически заявили, что оружия не сдадим. Они уехали, сообщив, что в таком случае они нам помочь ничем не могут.

Пища ухудшилась. Выйти из лагеря было некуда. Деньги, обещанные генералом Занкевичем, конечно, не выдавали. Повидимому, в Курно изрядно пропились, и деньги там были нужней.

Вдобавок к этому из Курно пришло требование выдать цейхгаузы с обмундированием. Надо сказать, что большинство куртинцев ходило в том, в чем вернулось с фронта, цейхгаузы же не трогало. Износилось все порядочно, гимнастерки и шаровары уже просили замены, а сапоги у многих настолько обнаглели, что перестали прикрывать даже пальцы. На требование о выдаче цейхгаузов мы ответили, что выдадим их только в том случае, если обмундирование будет роздано пропорционально, как находящимся в Курно, так и куртинцам. На это не согласились. Тогда им заявили, что ничего не дадим.

Правда, некоторые ребята говорили, что нужно вскрыть цейхгаузы и разобрать все, что в них находится. Чувствовалось, что кто-то уже провоциро-

вал, чтобы создать против нас еще одно обвинение. Было подозрение, что это исходило от коменданта, офицера Катковского, находившегося в деревне Ля-Куртин. Разбираясь теперь во всем этом, приходишь к убеждению, что мы хорошо сделали, не поддавшись на провокацию. Не цейхгаузы все-таки нужно было вскрыть и дать обмундирование оборванным и нуждавшимся.

Неофициальные требования о сдаче оружия продолжались. Потом последовали просьбы сдать оружие хотя бы на час. Куртинцы отвечали отказом.

Генерал Занкевич во вновь присланном извещении любезно нас уведомлял, что он уменьшает нам рацион довольствия до 1 франка 38 сантимов. Положеньице ничего себе! Сообщить о том, что с нами происходит, было некуда. В посылке делегата в Россию нам было отказано. Самих нас никуда не пропускали. Корреспонденции не только из России, но и местной мы не получали. Повидимому, она задерживалась в Курно. Наверно та же участь постигала и те письма, которые мы отправляли из Куртина. Лишь изредка из Курно „сочувствующие" пересылали своим товарищам письма из России. В этих письмах спрашивалось: почему мы бросили оружие, почему бросили воевать? Было ясно, что производился подбор нелегально пропускаемых писем.

Куртин постепенно изолировался все плотней и плотней. Начинался кризис табаку, не было свечей. Как только наступал вечер, приходилось многим заваливаться на боковую. Из-за отсутствия мыла белье приходилось только прополаскивать.

Лошади, находившиеся в нашем отряде, тоже голодали. Жалко было смотреть, как они ходили по мусорным ямам, отыскивая себе корм. Издохнувшую лошадь сейчас же разрубали, и она шла в пищу людям. Выпускать лошадей за пределы лагеря на

подножный корм не было возможности, так как курновские молодцы крали их.

Впоследствии вдруг начали пропадать и люди. Находясь в полуголодном состоянии, некоторые из куртинцев стали ходить собирать на ближайших вершинах гор ягоды и другую снедь. Многие не возвращались. После выяснилось, что их арестовывали патрули, которые сновали вокруг лагеря. Патрули были французские и из курновцев. О них мы и не подозревали. Пришлось перестать подкреплять свои силы черникой.

Опять приезжала делегация от артбригады, опять уговаривали сдать оружие. Но, как и в первый раз, уехала с пустыми руками. Повидимому, эта делегация была окончательно обработана в Париже.

Вторично пришло требование о выдаче цейхгаузов. В ответ на нашу отрицательную резолюцию по этому поводу последовала угроза расстрела тех, кто подписался под этой резолюцией.

Наконец, приехал из России делегат один из посланных нами 1 мая. Прежде чем притти к солдатам, которые его выбрали и послали, он прожил шесть дней у бывшего начальства. Когда же он соблаговолил приехать и сделать доклад, то так ничего и нельзя было усвоить, что было сделано по тому наказу, который мы дали. Делегат даже не осветил того, что творилось в России. Только все толковал о страшной дороговизне. Мы узнали, что он привез очень много газет. У нас блеснула надежда на то, что хотя бы из газет мы узнаем о событиях. Но и эта надежда пропала. Наше экс-начальство позаботилось, чтобы газеты к нам не попали.

Когда мы спросили делегата, что он знал в бытность в России о наших войсках, находящихся во Франции, он ответил: — Мне было известно, как и всем в России, что кучка солдат во Франции сле-

жила оружие и отказалась от фронта. (Ничего себе кучка — около 11.000 человек!)

Больше от него ничего нельзя было добиться, и он уехал обратно в Курно. Но через несколько дней опять приехал, выступил снова и тоже уговаривал сдать оружие. Эта песня уже так взвинтила всех нас своим мотивом, что ему не дали говорить. Он смылся заявив, что теперь по своим убеждениям не может оставаться в Куртине. Его впрочем никто не держал.

В этом промежутке времени — не помню точно какого числа — однажды ночью нашими постами были задержаны французские солдаты, которые разбрасывали и расклеивали прокламации. Наши посты их всех арестовали, отобрали у них ведерко с клейстером, а также все прокламации, которые они не успели разбросать или расклеить.

Содержание прокламации было следующее:

„По сведениям здешнего французского посланника, наши войска во Франции находятся в состоянии полного разложения и становятся опасными для местного населения. Примите решительные меры восстановить порядок в войсках, не останавливаясь перед применением оружия. Немедленно введите военно-полевые суды. Телеграфируйте о получении телеграммы, о принятых вами мерах и их результатах. Корнилов“.

На другой день французы, узнав об аресте команды по расклейке прокламаций, подняли шум. Прискакал французский комендант или комиссар той местности, в общем какая-то шишка. Стал кричать, угрожать, по какому, мол, праву мы арестовали их солдат и офицеров. За ними прибыли другие представители французских властей. Мы в ответ спросили у них: — А по какому праву в изолированный лагерь проникают ночью люди и занимаются расклейкой прокламаций? Если бы это было законно, —

добавили мы, — не было бы необходимости проделывать это ночью. Да и ваш министр нам однажды заявил, что вы не в праве вмешиваться в наши внутренние дела. Так на кой же чорт вы суетесь к нам да еще ночью!

Французы опешили и настаивали лишь на отпуске арестованных. Сознавая, что их солдаты здесь не при чем, что их послало к нам начальство, мы решили их отпустить. Держать их было бы накладно, — самим жрать не хватало.

Один из наших ребят, кивая головой на выпускаемого офицера, не выдержал, сказал: — Эх, вот этого на прощание надо бы вымазать всего клейстером!

Куртинцы, узнав о прокламациях, остались в том же настроении, в каком и были. Кто из нас знал о каком-то генерале Корнилове? Мы находились во Франции в полной изолированности, и нам было совершенно невдомек, что на подступах к Петрограду создавалась новая пробка, которая должна была закупорить выход на широкую дорогу власти рабочих и крестьян.

В конечном итоге куртинцам было все равно, кто им грозил смертной казнью, каторгой, ссылкой, принудительными работами, лишением всех прав. Для куртинцев итог уже был подведен.

Еще несколько томительных дней, и снова был получен приказ от генерала Занкевича:

„Мною получена телеграмма Вр. правительства, которой мне приказывается отправить войска, находящиеся во Франции, в Россию. Мятежники из лагеря Ля-Куртин все-таки должны исполнить ранее предъявленное им требование, то есть сдать оружие“...

И это приказание, как прежнее, нами, конечно, исполнено не было.

Подсылали к нам после этого „испытанных революционеров“. Например, приезжал некто Борис Сватиков, обрисовал свою самоотверженную деятель-

ность перед революцией, заявил, что он готов и в дальнейшем „живот свой положить“. Нужно отметить, что живот его был довольно-таки толстый. В заключение сказал: — Я только недавно прибыл из Петрограда, где очень тяжелое экономическое положение. Я слышал, что вы рветесь в Россию, но ехать туда не советую, так как там, в особенности в Петрограде, едят глину... — Придя в раж, он с чувством добавил: — Я и сам ел глину. — Это вызвало сплошной хохот со стороны куртинцев: господин, только-что приехавший из Петрограда и „евший там глину“, шеей и вообще всем обликом походил на хорошо откормленную свинью. Когда он напоследок заметил в своей речи, что, мол, нам, куртинцам, нужно сдать оружие, послышался уже не хохот, а свист, да такой громкий и зловещий, что кабриолетка, на которой стоял и выступал представитель Вр. правительства Борис Сватиков, начала вертеться, повидимому, выискивая такую шеренгу куртинцев, которая стояла бы немного пореже, чтобы можно было, в случае надобности, завернуть оглобли и задать тягу.

Мне удалось с трудом остановить куртинца-сибиряка, который заложил в браунинг полную обойму и уже хотел, как он выражался, „засупонить“ представителя, чтобы он больше не брехал. Сватикову пришлось уехать во-свояси...

В лагере стоял образцовый порядок. Каждый наблюдал за чистотой и за всем. Жители иногда помогали продуктами. Конечно, всех нас они удовлетворить не могли, но по мере возможности помощь оказывали. Чтобы поддержать силы товарищей, нам пришлось тронуть неприкосновенный запас, состоявший из галет и небольшого количества шоколада. Этот запас хранился в интендантстве, и мы берегли его на самый крайний случай. В виду незначительности запаса мы выдавали по две штуки галет

и по одной палочке шоколада в сутки каждому куртинцу.

Из Курно поступили сведения, что там организуются военно-революционные суды, которые приготавливаются судить главарей куртинцев, записанных в „Черную книгу". Началось подозрительное оживление, все время вертелись около нашего изолированного лагеря люди из Курно. Они почему-то не были, как раньше, назойливы. Создавалось впечатление, что не мытьем, так катаньем они хотят взять нас.

Так и получилось. 14 сентября рано утром нами был получен новый приказ-ультиматум за подписью генерала Беляева:

СОЛДАТАМ ЛАГЕРЯ ЛЯ-КУРТИН.

Я получил приказание представителя Временного правительства привести вас к повиновению силою оружия.

Объявляю:

1. Вы должны сложить все ваше оружие в лагере для дальнейшего приема его французскими войсками.

2. Выйти из лагеря безоружными, но с палатками на пропускные посты по дорогам:

а) на запад — на Сен-Дени,

б) на северо-запад — на Фельтен,

в) на север — по дороге на Бейкат,

г) на восток — по дороге севернее озера, на Орад.

3. Всякий выходящий из лагеря вооруженным будет мной встречен огнем.

4. Точно так же будет встречена огнем всякая попытка, хотя бы и невооруженных людей, проникнуть в деревню Ля-Куртин.

5. По тем, кто не положит оружия и не выйдет из лагеря к 10 часам 17 сентября, будет открыт артиллерийский огонь.

14 сентября 1917 года

Генерал-майор Беляев.

На этот ультиматум мы ответили попрежнему: оружия не сдадим, воевать не будем.

Начались выселение жителей из деревни Куртин и из ближайших деревушек. Жители уходя угова-

ривали нас уйти из лагеря и рассказывали, что здесь же, в эту же войну, усмирили при помощи пушек взбунтовавшиеся алжирские войска. Но и это не действовало. Думалось, что вот еще немного и узел будет разрублен. Видя такую решимость, жители оставляли для нас продукты. Женщины плакали, продолжали уговаривать нас и повторяли, что мы остаемся на верную гибель.

Довольствия мы никакого не получали, держались на неприкосновенном запасе. В сутки на каждого выдавали одну палочку шоколада и несколько штук бисквита, до того черствого, что и за час его нельзя было размочить.

Лагерь в Куртине был расположен в котловине. Он был окружен не очень крутыми, но высокими горами, так что, заняв вершины гор, можно было сжать лагерь в кольцо.

Вблизи Куртина вскоре показались солдаты и офицеры из Курно, среди них замелькали французские войска. Тут были и пехота, и артиллерия, и кавалерия. Наблюдая все это, многие думали, что „свои" не будут в них стрелять. Ведь вместе же страдали в окопах. Да и союзники, — разве они не видели, как сражались русские в Шампани, Мурмелоне и под Реймсом?

В этом пришлось скоро разочароваться. Не настал еще срок ультиматума, как курновские молодцы показали, что они не только могут в нас стрелять, а и ждут не дождутся того момента, когда будет проведено в жизнь распоряжение их „высшего начальства". Словом, верноподданнические чувства у них были превыше всего.

Вечером 14 сентября в Куртине на открытом воздухе, на плацу был открыт нами митинг. После митинга начался импровизированный концерт. В то время как музыка играла марсельезу, над головами собравшихся засвистели пули. Концерт пришлось

прекратить. Ночью ружейная стрельба участилась. Застрекотал и пулемет. Утром 15 сентября из местечка Куртин пришел кюре (поп), который тоже начал уговаривать нас. Его сперва слушали, а потом не вытерпели, выругали и предложили ему убраться по добру, по здорову.

Весь день свистали над лагерем пули. Это была „предварительная пристрелка“.

Товарищей, которые находились ближе к обстрелу, мы переселили во внутренние здания. В пехотные роты дали пулеметы и пулеметчиков, которых инструктировали: стрелять только в том случае, если со стороны ворвавшихся курновцев и офицеров последуют эксцессы.

Было установлено дежурство в комитетах, как полковых, так и ротных. Принимались все меры к тому, чтобы как можно меньше было жертв. Мы предостерегали об этом на каждом шагу.

Ночью с 15 на 16 сентября местность напоминала уже позицию. Пулеметы и винтовки не переставая сыпали пули в лагерь Ля-Куртин. На утро 16 сентября наступила тишина. Даже оружейный огонь прекратился. Тишина была какой-то зловещей.

После длительной пальбы, а особенно после последней ночи, слишком странно стало ощущать тишину. Все ждали утра. Погода стояла великолепная — солнце, тепло, воздух был насыщен ароматом, птицы весело щебетали в кустах. А ровно в десять часов утра на горе блеснул огонек, раздался гул, и первый снаряд разорвался около помещения отрядного комитета. Послышались стоны раненых, крики. Не успел еще рассеяться дым от первого снаряда, как за ним последовали еще два. Раненых подхватили, отнесли в укромное место, перевязали собственными силами, так как ни одного врача с нами не было.

Первые снаряды были определенно направлены в помещение отрядного комитета, чтобы уничтожить

головку. Но мы это предусмотрели и перевели отрядный комитет заранее в другое помещение. До шести часов вечера снова затихло. Потом опять загремели орудия, посыпались снаряды, теперь уже безостановочно, лагерь окутался дымом, обстрел носил характер „стрельбы по площади", то есть местность равномерно покрывалась разрывавшимися снарядами.

Раненые прибывали. Медицинской помощи оказать им не было возможности. Мы поддерживали их силы вином. Мучились они ужасно, некоторые просили их пристрелить.

Видя их мучения, мы решили обратиться к тем, кто в нас стрелял, чтобы они дали врача. Работники „Красного креста", думали мы, во имя человеколюбия должны оказывать медицинскую помощь всякому, кто бы он ни был.

Мы, однако, упустили из виду, что под халатами врачей, которые были на стороне обстреливающих, скрывались наши враги, те же офицеры-дворяне и капиталисты. Ни один врач итти к нам не пожелал. Тогда мы сказали, что принесем тяжело раненых к ним в госпиталь. Но сами раненые воспротивились этому. Они не хотели оставить Куртина и просили, чтобы мы им дали возможность умереть здесь. Некоторые кричали: „Добейте вы нас сами, это лучше, чем умирать в руках палачей!"..

Стрельба не прекращалась все время. Только ночью моментами орудия как будто уставали, но вместо них сейчас же начинали трещать пулеметы. Сколько убитых, сколько раненых — установить уже не было возможности.

Раненых лошадей сразу же добивали, рубили на куски, тащили в казармы, варили и ели. Рубить и варить приходилось под обстрелом, но с этим не считались. Все были голодны до последней степени. Ни о каком планомерном распределении кусков не

могло быть и речи. Из ротных и полковых цейхгаузов доедали остатки неприкосновенного запаса.

Подкрепляемый пулеметным огнем, перемежающимся с оружейным, грохот орудий не смолкал.

Так продолжалось до утра 18 сентября, когда вдруг поползли слухи, что некоторые товарищи из полков не выдерживают, начинают бросать все и выходить из лагеря.

Я бросился к телефону, начал звонить в отрядный комитет, ответа не последовало. Как выяснилось потом, вся телефонная связь была перебита, и команда связи при всем желании не могла ее наладить. Пришлось забраться с биноклем на крышу казармы. Глазам представилась такая картина: люди с ранцами за плечами шли небольшими группами и в одиночку по разным направлениям из лагеря в горы, а по ним стреляли.

Нужно было все-таки как-то с ними связаться. Мы решили послать вестового в 1-й полк. Вестовой около 2 часов дня вернулся и сообщил, что действительно часть полка уже ушла, а другие еще держатся, но их немного, большинство же не выдерживает и расходится по разным направлениям. Попробовали мы связаться со своим 2-м полком по телефону, думая, что может быть телефон еще где-нибудь работает, но опять безрезультатно.

К вечеру пришел один из наших пулеметчиков, оставленный при пулемете во 2-м полку, и рассказал, что из полка уже некоторые ушли, многие тоже собираются уходить, так как дальше держаться нет возможности, но на этой почве возникают недоразумения, потому что находятся такие, которые заявляют, что выходить из лагеря сейчас нельзя, что нужно держаться до самого крайнего момента.

На склонах гор уже простым глазом было видно, как среди кустарников мелькали фигуры уходящих.

Теперь огонь местами переносился из лагеря на склоны гор, — то стреляли по уходящим. Стрелявшие как бы хотели доказать, что весь наш путь устлан пулями и снарядами.

Сколько здесь было трагедий — трудно рассказать. Например, один солдат из Куртина вышел сдаваться, дошел до вражеских постов. Шагов за двадцать его остановили ругательствами: — Что, сволочь, пришел каяться? — Видя, что ему не сдобровать, он быстро выхватил из-под рубашки гранату, бросил ее в своих победителей, а сам кубарем покатился обратно в лагерь Куртин...

Положение дошло уже до крайности, до последнего напряжения. Несмотря на наше решение ни единым выстрелом не отвечать на пальбу, со стороны Куртина послышались выстрелы, правда, редкие, но видно было, что кто-то не вытерпел. Вновь наступила ночь, а стрельба по лагерю не уменьшалась. Что-то будет дальше?

С утра 19 сентября, едва взошло солнце, как-то сразу почувствовалось, что нас в лагере стало меньше. Это стало заметно даже и по стрельбе: если до того она велась „по площади", то теперь уже сосредоточивалась на определенных участках. Получалось впечатление, что выбивают сопротивляющихся.

Остатки нашего полка стали небольшими группами уходить из лагеря. Другая часть, группируясь около казарм 1-го батальона, пошла строем. Потом там послышались одиночные выстрелы, протарахтел пулемет. Что-то там произошло, так как строй смешался. Мы подумали, что туда попал снаряд, но впоследствии оказалось, что некоторые не хотели выходить из лагеря и открыли стрельбу по уходившим — из оставленного заряженным пулемета. Выпустили одну ленту, но дальше вероятно стрелять не могли или из их рук было вырвано оружие.

Огонь обстреливавших сосредоточился теперь исключительно на нашем расположении. В лагере остались только пулеметчики. С ними были часть траншейной батареи и одиночки, которые засели по всему лагерю и тоже не желали выходить. К вечеру огонь настолько усилился, что разрыв следовал за разрывом. Если до того наши палачи щадили здание лагеря, то теперь, вероятно озлившись, они перестали считаться с этим и решили пойти даже на разгром, лишь бы выбить нас из лагеря. Один снаряд грохнул в крышу казармы. Я хотел высунуться из окна второго этажа и посмотреть в бинокль, что делается у них, но был отброшен обратно: между окон в стену впился трехдюймовый снаряд, к счастию он не разорвался.

День был ясный, солнечный, цель была видна хорошо. Вокруг нашего расположения то там то тут разрывались снаряды. Стреляли исключительно из трехдюймовых. Держаться каждую минуту становилось все труднее. Раньше сила огня была распределена по всему лагерю. Теперь, когда из лагеря все вышли, а мы держались одной кучей, весь огонь сосредоточился на нас. Становилось жарко.

Из лагеря с разных мест стали раздаваться одиночные ответные выстрелы. Кто стрелял? Точно сказать нельзя было, но, повидимому, это были товарищи, которые не хотели выходить.

Держаться дальше здесь стало уже невозможным. Видно было, что противник решил снести все до основания и выбить нас, — задача облегчалась тем, что мы из себя представляли хорошую цель и держались кучей. Обстреливавшим нас не приходилось разбрасываться, знай — стреляй в одно место.

Мы стали советоваться, что предпринять. Я собрал делегатов от команд и устроил собрание. Как и следовало ожидать, явилось много товарищей помимо делегатов. Это было последнее собрание

в Куртине, самое короткое, без всяких формальностей. Ни председателя ни секретаря не выбирали, не писали протокола. Вопрос был ясен всем, нужно было только решать.

На поставленный мною вопрос: — Что предпринимать? — сразу ответили несколько голосов: — Заряжать пулеметы, развернуться в боевую обстановку и держаться до последнего патрона.

Другие не соглашались с этим, говоря:

— Об этом нужно было думать раньше, когда только начался обстрел, когда полки были в лагере, тогда это имело бы смысл, а теперь продержимся еще суток трое и нас, маленькую кучку, все равно разобьют. Пользы мы своим сопротивлением никому не принесем.

Последних оказалось большинство. Но предлагавшие защищаться упорно стояли на своем. Пришлось сказать, что кто не согласен и не хочет выходить из лагеря, может остаться, мы насильно не тащим, а кто хочет выходить, пусть выходит — задержки нет. Смысла сидеть одной кучей и ждать, когда всех перестреляют как куропаток, не было никакого.

Едва только кончилось собрание, которое шло под непрекращающийся аккомпанемент стрельбы, как произошел следующий инцидент: двое земляков заспорили между собой, один хотел уходить, второй не хотел. Первый повернулся и пошел по направлению к своей казарме. Не успел он отойти несколько шагов, как грянул выстрел, и он со стоном упал. Стрелял его друг и земляк, который не хотел уходить. Когда от него отнимали наган, глаза у него были, как у безумного, и он бормотал что-то несвязное.

Вдруг из помещения нашей команды, из первого взвода, который находился во втором этаже, затрещал пулемет. Мы вбежали туда. Оказалось—один

из солдат нашей команды установил пулемет на столе и стрелял прямо через окно в гору. Едва оттащили его от пулемета.

Выходить начали небольшими группами. У себя в команде мы сложили оставшиеся пулеметы, карабины, швейную машину и другие вещи в цейхгауз. Так начался выход пулеметчиков одного из последних отрядов Куртина.

Я заметил, что уходят не все, часть что-то мнется, то отойдет от казармы, то опять вернется. Они собирались по-двое, по-трое и исчезали в ближайших кустах, предварительно о чем-то ожесточенно разговаривая. Впоследствии я не видел, чтобы они выходили, хотя все крупные группы ушли на моих глазах.

Обстреливавшие заметили, что у нас что-то происходит, и начали сосредоточивать огонь по дорогам. Не успевала какая-нибудь наша группа завернуть за угол, как на то место, где она стояла, один за другим падали и разрывались снаряды.

По расположению 1-го полка началась усиленная стрельба из пулеметов и винтовок, туда же полетело и несколько снарядов. Повидимому, там что-то обнаружили. С грохотом отвалился угол у одной из казарм. Разрыв был очень сильный. Это была уже не трехдюймовка, а что-то посолиднее.

Мелькала мысль: бежать,—но куда? В любой стороне, куда ни беги, все цепи, цепи, сплошное кольцо, которым был обложен весь лагерь, кольцо из живых людей, французов, сенегальцев, курновцев и из 1-й артбригады. Нигде нельзя было найти лазейки, чтобы прорваться и убежать.

Я и еще несколько человек из нашей команды решили итти на деревню Куртин. Вышли мы уже совсем под вечер. После нас в казармах не оставалось никого. Проходя мимо траншейной батареи, мы видели, как кто-то возился около орудия, и ста-

рался навести его на гору. Мы окликнули его. Он посмотрел на нас, на пушку, ни слова ни сказал, махнул рукой и скрылся за зданием.

С визгом пронеслась головка от снаряда, прыгая по дороге, как брошенный камень.

У здания офицерского собрания, на асфальтовой площадке, мы увидели с десяток лежащих человеческих фигур. Один в гимнастерке, с вещевым мешком, сидел у стены, раскинув руки; другой в шинели, свернувшись в комочек, как-будто спал. Лишь лужа крови у живота говорила об ином...

Когда мы приблизились к самому входу в деревню Ля-Куртин, около дороги защелкали затворы. С обеих сторон на нас были направлены дула винтовок. Еще момент, и вероятно нас постигла бы такая же участь, как и наших товарищей, которых мы только-что видели у офицерского собрания. Но подскочивший откуда-то полковник закричал:

— Стойте, стойте! Мы их и так возьмем. Эти нам живьем нужны...

— Ну что, пришли, сволочи? — обратился к нам.— Морду бить вам надо!

Нас окружили конвоем из французских солдат. Вероятно первый отряд, состоявший из курновцев, представлял из себя что-то вроде караула полевого.

Раздалась команда: — В комендантскую!

В деревне, по которой нас вели, вероятно был штаб, — так много мелькало офицеров. Или нам это резко бросалось в глаза из-за того, что мы долгое время обходились без них и уже отвыкли от вида звездочек и просветов.

Привели нас, наконец, к комендантскому управлению. Оттуда выбежали три жандарма. Вслед за ними вышли несколько русских офицеров, стали нас рассматривать. Все они были при боевой амуниции. Один из них обратился к нам: — Эй, сукины сыны, каких вы рот? — Из наших рядов ему ответили: —

Как видите, мы не сукины сыны, а почти все пулеметчики. — Тот побагровел и крикнул: — Замолчите, сволочи, пока вам рот не заткнули! — Больше нас ни о чем не спрашивали...

Через некоторое время жандармский офицер привел другой конвой, который окружил нас. Офицер отдал распоряжение конвою вести нас за деревню.

Всю дорогу на нас сыпались насмешки и иронические издевательства. Создавалось впечатление, что мы совершаем последний путь, а там за деревьями с нами будет произведен окончательный расчет.

Мы отнеслись к этому как-то совершенно равнодушно. Никто из нас даже не пытался чем-нибудь протестовать. Спокойно повернулись под командой конвоя и, окруженные кольцом, пошли за деревню.

Взошли в гору. Там наши первоначальные сомнения рассеялись. За изгородью мы увидели порядочное количество куртинцев, которые находились под охраной французской пехоты. Вокруг всей изгороди плотным кольцом стояли часовые. Нас ввели за изгородь, — здесь происходил обыск. Как раз обыскивали группу товарищей, которых привели откуда-то с другого конца.

У входа, прямо на траве, была навалена груда разных вещей, — тут были сапоги, белье, книги, часы, фотографические карточки, письма, различные документы и т. д., — в общем целый универсал. Подошла скоро очередь и до нас, но у нас нечего было и отбирать, — все осталось в Куртине.

За изгородью расположили нас небольшой кучкой отдельно, окружив конвоем. Невдалеке была еще группа наших товарищей, дальше еще, так все мы были рассеяны по поляне, окруженные патрулями.

А по лагерю стрельба все продолжалась. Наступила ночь, но, несмотря на сильную усталость, сна не было. У всех нас была одна мысль: что в лагере?

Орудийный обстрел лагеря велся через наши головы. Из лагеря нет да нет тоже раздавались выстрелы, но редко и вразброд. Очевидно стреляли одиночки. Верно немного осталось наших товарищей в лагере.

Начало светать. Не-то дремота, не-то сильная усталость смыкала глаза. Становилось холодно, но каждый выстрел болезненно отзывался в голове, несмотря на одолевавшую дремоту. Воспользовавшись нашим состоянием, часовые обкрадывали нас. Поснимали у некоторых с головы фуражки, из-за голенищ вытащили деревянные ложки, поотбирали прочую мелочь.

Утром 20 сентября стрельба была уже как будто тише. Над лагерем стоял легкий туман, перемешанный с пороховым дымом. Все мы, находившиеся на поляне, лежали лицом к лагерю, стараясь рассмотреть и уловить хотя бы что-нибудь из происходившего там. Около нас сменились часовые. По дороге по направлению к лагерю, проехала французская кавалерия.

Около 11 часов утра стрельба стала вновь усиливаться. Опять по лагерю стреляли со всех сторон. Стоявшие около нас часовые говорили, что скоро начнется атака на лагерь.

Действительно, вскоре в лагерь направился броневик. Мы все, несмотря на оклики часовых, даже привстали. Броневик медленно отползал в лагерь, но, дойдя до расположения 1-го батальона 2-го полка, он был встречен пулеметным огнем и застрял; повидимому, его подбили этим огнем или у него что-нибудь испортилось. Машина подергалась немного на месте и окончательно остановилась. С броневика обстреливали, но ему не отвечали. Сидевшим в броневике, судя по всему, становилось туго, так как выскочить из броневика они не решались, боясь попасть под пулеметный обстрел

Все командование засуетилось. Огнем из орудий стали ограждать застрявший броневик, чтобы к нему нельзя было близко подойти.

В это время началась спешная подготовка атаки на лагерь. Однако, произошла заминка, — небольшая часть французов отказалась итти в атаку. Забегали с сердитыми лицами офицеры. Кого-то куда-то повели, еще дальше чем нас, в тыл. А через полчаса, взамен уведенных, шел по направлению к лагерю отряд, состоявший исключительно из сержантов и таких, что по нашему зовут „сверхсрочными шкурами".

Канонада стихла, видно было, как люди со всех вершин гор бросились вниз в атаку, словно псы на добычу. Среди нас, находившихся на полянке, воцарилось гробовое молчание. Все мы были бледны и лишь жадно глядели в лагерь, силясь видеть, что там происходит.

Наступали последние минуты Куртина. Оттуда доносились только крики, револьверные и винтовочные выстрелы. Больше услышать и разглядеть ничего нельзя было.

Через некоторое время все стихло... Куртин пал.

На следующее утро мы увидели, что к нам добавили еще одну группу наших товарищей. Это были последние защитники Куртина.

Часов около 12 дня приехала целая ватага офицеров. Большинство из них были незнакомые. Офицеры прошли на середину полянки. Один из них, в казацких шароварах с напуском, в папахе, вынул из кармана список, предупредив, что все, кого он будет вызывать, должны выходить и ложиться на определенное место. Часовым было приказано нас охранять более плотным кольцом.

Оставив конвой из нескольких часовых около собственных персон, офицеры начали вызывать нас по списку. Так нас набралось человек восемьдесят.

Кончили этот список, оцепили нас вновь отдельным конвоем, а сами принялись вызывать по второму списку. По нему вызвали больше двухсот человек, которых тоже окружил конвой. Оставшихся отвели в сторону.

Нам же заявили, что вызванные по первому списку — это 1-я категория, а по второму — 2-я категория. Что из себя представляет в их глазах та и другая и какая разница между ними, — ничего не сказали, а нам не было удовольствия об этом спрашивать.

Расстояние между обеими группами было небольшое, и, несмотря на окрики часовых, мы переговаривались. Во 2-й группе оказалось много пулеметчиков, да и в нашей первой почти все были знакомы друг с другом.

Я принялся расспрашивать о многих своих товарищах: где они? Выяснилось, что некоторые были живы, но находились где-то в другом месте. Передавали, что Глоба тоже схвачен и запрятан в какой-то подвал.

Нам пришлось переночевать в этом же положении еще одну ночь, под открытым небом и голодными. Утром нас подняли, сосчитали и, окружив конвоем, повели на станцию Ля-Куртин — 1-ю категорию впереди, а 2-ую категорию от нее шагов на пятьдесят позади. Когда мы проходили недалеко от деревни Куртин, к нам присоединили Глобу и еще несколько товарищей — они тоже попали в 1-ю категорию. Когда на полянке вызывали по обоим спискам, мы заметили, что на некоторые вызовы никто не откликается и место остается пустым. Быть может этим товарищам удалось скрыться куда-нибудь или... их уже не было в живых? Первое было очень сомнительным. Более вероятным был второй исход.

На станции Ля-Куртин нас разместили по товарным вагонам, там же был размещен и конвой.

Невольно вставал вопрос: куда нас теперь еще повезут? И где будет развязка?

Перед самым отправлением выдали только немного хлеба и консервов на дорогу. За все же время на полянке никто из нас ничего не получал, кроме воды, если не считать, что некоторые часовые, сочувствуя нам, потихоньку уделяли нам кое-что из своих хлебных рационов...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

По дороге в Бордо

Поезд, наконец, тронулся. Чем дальше мы отъезжали от станции Куртин, где пролилось столько невинной крови, где наши солдаты перенесли столько нравственных и физических мучений, — тем легче становилось на сердце, тем ярче горела надежда на будущее.

Поезд шел полным ходом, и через несколько часов мы приехали на одну из станций, где поезд остановился. От патрулей, которые нас сопровождали, мы узнали, что будем стоять около трех часов. Нам было понятно, что эта остановка была вызвана отнюдь не железнодорожными неурядицами, а просто тем, что нас нужно было привезти в назначенное место непременно ночью.

От нашего поезда скоро отцепили все вагоны с арестованными по второй категории и отправили их по другому пути. Куда — мы не знали.

Публика, проходившая по станции, косилась на вагоны, в которых мы находились, но ничего не предпринимала. Детишки, как народ более предприимчивый, старались пробраться поближе к нам, вступали с нами в разговоры. Взрослые, видя это, тоже подходили. Но лишь только завязывалась

беседа, влетал, как злой дух, капрал сопровождавшего нас конвоя и всех разгонял.

Наконец, по прошествии трех часов, паровоз вывел нас на главный путь. В это время подошел пассажирский поезд, в середину которого поставили наши два вагона. Изо всех окон поезда высунулись пассажиры и смотрели на нас, как на диких зверей.

Мы отправлялись дальше. Горы, долины, ручейки, тоннели быстро замелькали перед нашими глазами.

Снова подъехали к станции. Здесь многие из публики уже злорадствовали и оскорбляли нас. Особенно изощрялись в этом железнодорожные служащие.

Один из них, самодовольно улыбаясь и загнув голову вверх, водил себя рукой по горлу, — он хотел показать, что нас ожидает. На большой станции, носившей название „Брив", едва лишь остановился поезд, у вагонов собралась штатская толпа, которая подняла такой гам, что нельзя было выглянуть в окно. Стоило только кому-нибудь из нас показаться, как ему начинали показывать кулаки и языки.

В стороне стоял военный поезд с немолодыми солдатами, которые из отпусков возвращались на фронт. Те ничего оскорбительного по нашему адресу не говорили и молча смотрели на нас, как будто сочувствуя.

С этой станции мы отправились под неистовый аккомпанемент криков и свистков.

На следующей остановке, где публики было еще больше, к одному из окон подскочил какой-то пьяный солдат, намереваясь ударить каской по стеклу. Толпа, возбужденная пьяным солдатом, закричала, зашумела, как будто бы у нее украли самое драгоценное, и стала подступать ближе к вагонам. Нашему конвою пришлось с винтовками выйти из вагонов и все время быть на-чеку. Толпа грозила с нами

расправиться. Мы спокойно вздохнули только тогда, когда двинулись дальше.

Когда поезд тронулся, я разговорился с одним из конвойных. Сперва, конечно, перекинулись ничего незначащими фразами. Потом я его спросил: почему французская публика так враждебно относится к нам, тем более, что она еще ничего не может знать о случившемся? Он ответил, что в этом виновато наше начальство, которое заранее распустило про нас самые невероятные слухи. По его словам, когда нас везли, от нашего начальства была дана телеграмма, что мы — большие преступники, которые работали на немецкие деньги в русском отряде во Франции. Он уверял, что нас отправят в Россию и в настоящий момент везут в один из портовых городов для пересадки на пароход. Этот слух нам приходилось не раз уже слышать после нашего ареста. Наверно, он тоже был пущен не иначе, как с какой-нибудь целью.

Около двух часов ночи мы приехали в Бордо. Построились на платформе и направились к выходу. Нас быстро вывели из станционного помещения на улицу, где усадили в специально приготовленные трамвайные вагоны. Патрули разместились на площадках. Окна были наглухо занавешаны.

На улицах не было слышно никакого движения, даже не раздавалось шагов прохожих. Город спал.

Через полчаса езды трамвайный служащий, который все время находился в нашем вагоне, вдруг спросил на чисто русском языке: — Что такое вы там натворили, в Куртине?—Все, конечно, этому изумились, потому что никто не подозревал в нем русского. Только-что с ним хотели поговорить, как нас стали высаживать. Оказалось — приехали.

Выйдя из вагонов, мы очутились на узкой улице перед мрачным и темным зданием. Построились вдоль улицы в две шеренги. Патруль охранял нас

с обеих сторон. При всей темноте мы заметили солидные решетки на мрачно зияющих окнах здания.

Нас всех ввели во двор и оттуда попарно в помещение, которое представляло из себя комнату 30 шагов в длину и шагов 10 в ширину. Стены были глухие и пустые. Внесли две скамейки, да два кувшина. Такова была вся обстановка нашей камеры, в которой поместили 44 человека. Остальных всех разместили в точно такой же камере, только на другой половине. Принесли еще соломы для спанья, которую бросили прямо на пол, и неизменную спутницу всех арестантов „парашу".

Звякнул замок, и дверь закрылась...

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

В Бордо

После дороги все чувствовали себя усталыми. Разостлав шинели на соломе и подкрепившись хлебом и водой, легли спать.

Утром, часов в семь, дверь отворилась, и вошел сержант. Сделал поверку, сказал, что мы можем свободно ходить по двору до 5 часов вечера.

В этот день в тюрьме пищи нам еще не дали, так как мы не были еще зачислены на довольствие. Даже в кипятке нам было отказано.

Дворик при тюрьме был небольшой. При входе находились караульная будка и кухня, куда нам уже пришлось выделить из своей среды двух „поваров", и уборная, — вот и все. А дальше — ворота и часовые. Все это было обнесено высокой каменной стеной, из-за которой ничего не было видно. Город чувствовался только по трамвайным звонкам да глухому шуму голосов. Со следующего дня нам

начали выдавать пищу: небольшой кусок хлеба на троих, в обед — миску супа, а ужин — то же самое. Мясо варили два раза в неделю, но в таком количестве, что приходилось всегда крошить его в суп, также не было никакой возможности разделить его на порции. Кроме того, оно всегда было тухлым. Кипятку совсем не давали. Табаку и мыла также.

Ужинали мы в 4 часа дня, а потом приходилось сидеть без пищи почти 18 часов, потому что обедали в 11 часов утра. „Интервал", от которого кишки марш играли. В общем приходилось влачить буквально голодное существование.

Корреспонденция ниоткуда не получалась. Наши письма тоже видимо пропадали: сколько мы не писали, — ответов не было.

Все ходили грязные, нечем было выстирать белье. У некоторых оно уже совсем истлело. Обмундирование тоже было ниже всякой критики. У многих на плечах болтались те же рваные шинели, в каких они были еще на позициях, а из сапог выглядывали пальцы.

Спустя две недели, прикатил какой-то французский генерал, прошел по камерам, посмотрел на обстановку, спросил у некоторых, кто какой губернии, чем кто занимался до военной службы, и уехал.

Дня через два после этого сержант объявил, что приедет французский министр. Заставили нас вымыть полы, убрать помещение. Ждали, ждали мы этого министра, да так, однако, и не дождались.

Время текло однообразно.

Прошло приблизительно еще около недели, как к нам в тюрьму прикатили „визитеры". Приехал старый наш „знакомый", комиссар Е. Рапп, в сопровождении военного прокурора, полковника Лисовского. С ними находился какой-то молодой офицер, как оказалось потом адъютант комиссара Раппа, вероятно из „летчиков".

Прокурор Лисовский пришел к нам, поздоровался и сказал, что комиссар Рапп приехал узнать, в чем мы нуждаемся. О себе он заметил, что сопровождает комиссара лишь для того, чтобы помогать ему в юридических вопросах. Прокурор далее пояснил, что уже назначена следственная комиссия, которая находится под его наблюдением, и что в скором времени она приступит к работе и приедет к нам. Он закончил просьбой давать правдивые показания, ничего не скрывая, и посулил со своей стороны приложить все свои силы к тому, чтобы открыть вожаков и главных виновников мятежа, а невиновных освободить. Для этого, по его словам, нужно было только чистосердечное признание.

В общем все его поведение было похоже на подготовку почвы для следственной комиссии.

Нам припомнился французский генерал, который приезжал до того и все расспрашивал, кто чем занимался до службы и какой губернии. Особенно он обращал внимание на петроградцев, москвичей, не иначе, как искал среди нас „головку"...

Рапп, со своим адъютантом войдя в помещение, стал расспрашивать о наших нуждах. Мы заявили ему, что находимся в полуголодном состоянии, не получаем ни литературы, ни корреспонденции, тонем в грязи и т. д. Он ответил, что все это он уже знает, что у него все записано, и что он немедленно примет меры к снабжению нас всем и к устранению всех недочетов и непорядков.

Относительно корреспонденций Рапп указал, что мол, пароходам трудно пробираться из России, да их там и нехватает.

— Каким же образом, — спросили мы, — офицеры не находящихся здесь полков попадают из России во Францию? — и недвусмысленно посмотрели на адъютанта Раппа. — А что скажете относительно местной почты? Тоже пароходов нехватает?

Ему и крыть стало нечем, бедняга совсем запутался и старался перевести разговор на другую тему. Начал без конца твердить, почему мы стреляли из Куртина? Ему ответили, что никакой стрельбы из Куртина не было, но он опять свое: — надо найти виновников стрельбы.

Тогда я обратился к нему:

— Если бы и стреляли из Куртина, что было бы тем, кто стрелял, стали бы их судить?

— Конечно, — заявил Рапп.

— А будут ли судить тех, кто стрелял по Куртину и кто разгромил Куртин, — не отставал я, — в особенности главных виновников?

Он замялся.

— Трудно теперь верится, что вы социалист, — бросил я ему, — и, кроме того, похоже, что у вас хорошие приятельские отношения с представителями из посольства, а также и другими, власть имущими.

Рапп густо покраснел и пробормотал, что если люди идут против свободы и не исполняют его приказаний, а он видит, как свобода гибнет от этого, — то его святая обязанность подавить контрреволюционное движение.

Это всех нас возмутило. Один из товарищей крикнул: — Что же, выходит, что мы — контрреволюционеры? Ну, это посмотрим, кто из нас.

Все увидели воочию, как вилял комиссар Рапп, сравнили то, что он пел, когда приехал, с тем, что распевал теперь. Многие потом призадумались над этим и поняли, что не всякую песню нужно в голову принимать.

Ни Раппу ни Лисовскому никаких виновников стрельбы в Куртине не удалось найти. Так и хотелось на все их старания громко крикнуть: напрасно ищете здесь, возьмите лучше зеркало, посмотритесь в него и сразу увидите их.

Уехали они, еще раз пообещав улучшить наш быт присылкой довольствия, литературы, газет, а также наладить корреспонденцию.

Через несколько дней после их отъезда переводчик заявил нам, что по французским законам все арестованные должны работать, а кто не желает работать, будет наказан, посему нам скоро привезут станки и материал для плетения матов.

Казалось бы, комиссар Рапп должен был уже вернуться на свое место, и некоторые наивно ожидали исполнения его обещаний; но ничего не было, если не считать, что рисовый суп сменила червивая фасоль.

Пришли первые письма от товарищей из нашего отряда. Из этих скупых коротеньких записок (много не писали, зная, что не пропустит цензура) мы узнали, что солдаты в Куртине находятся почти в таком же положении — в полной изоляции, под охраной французских войск.

Тем временем привезли материал и приспособления для работы. Мы решили до прихода ответа от командующего округом на посланное нами ему заявление временно к работе приступить.

Приехал снова прокурор Лисовский с двумя артиллеристами из той бригады, которая в свое время присылала к нам в Куртин делегацию, а потом принимала участие в подавлении куртинцев. Оба они, как отрекомендовал их Лисовский, являлись членами следственной комиссии и состояли при его особе. Они должны были приступить к работе, но это им не удалось, так как мы их самих взяли в работу. Они повернулись и уехали.

В следующий свой приезд, видимо для того, чтобы задобрить нас, они привезли белье, но в таком количестве, что мало кому хватило, к тому же все старое и рваное. Все-таки к следствию опять им приступить не удалось. Среди нас было решено

никаких показаний не давать, суда их не признавать, а требовать отправки в Россию.

В эти дни к нам доставили еще девять человек и разместили в пустовавших нижних помещениях и от нас совершенно изолировали. Часовым было приказано не допускать никаких сношений между нами и ними.

Как-то вечером прокурор Лисовский с сопровождавшим его полковником Лебедевым, оба изрядно подвыпившие, вступили в разговор с нами по поводу вновь прибывших. Мы спросили Лисовского, почему их держат изолированно. Он ответил, что они гораздо больше натворили, чем мы, помещавшиеся наверху.

— Судить их буду я, прокурор Лисовский, — хвастливо добавил, он, — это дело не шуточное, и я должен его раскрыть, потому что имя мое тогда попадет в историю.

„В какую только?“ — подумали мы, слушая, как устами прокурора Лисовского говорило вино, которое он выпил.

Так как ответа на наше заявление от командующего округом не было, мы от работы отказались. Пришел переводчик и предупредил, что тогда нас всех на весь день будут запирать в камерах, за исключением двух часов для прогулки. Действительно так и случилось. Нас впрочем это не огорчило, — в том, чтобы бродить по крохотному дворику, удовольствия было мало.

Это каторжное положение продлилось, однако, недолго. Тот же переводчик вскоре нам сообщил, что от французского правительства получено приказание, согласно которому мы можем свободно гулять по двору и получать газеты и книги. Последнее нас обрадовало больше всего.

Одновременно с этим распоряжением был получен приказ от комиссара Раппа (наконец-то, подал

свой голос!), в котором нам строго-настрого запрещалось... покупать вино. Конечно, среди нас поднялся хохот по поводу этого приказа. Действительно, надо было иметь голову Раппа, чтобы издать такой приказ! Мы сидели в полуголодном состоянии, да вдобавок без денег, не знали, где достать их на покупку хлеба и самого необходимого. Никому и мысль в голову не могла притти о вине. А тут — такой приказ. Комиссар Рапп вероятно забыл, где мы находились, ведь по правилам внутреннего распорядка, насколько известно, ни в одной тюрьме не допускается ни под каким видом вино.

Следственная комиссия между тем закончила следствие и послала от себя представителей в Париж с докладом к генералу Занкевичу. Значит теперь мы должны были скоро получить обвинительный акт. В чем-то нас обвинят? Интересно было посмотреть на собранный материал, тем более, что следственной комиссии фактически не удалось допросить никого. Наши товарищи скорее ее допрашивали и обвиняли.

Все были твердо убеждены, что нас не смогут сломить никакими следствиями и судами. Мы твердо решили никаких постановлений, которые идут в разрез с нашими мыслями и понятиями, не признавать, а если бы нас стали судить, то и суд не признавать, и снова и снова настаивать, чтобы нас отправили в Россию.

С 1 ноября сержант нам обещал увеличить рацион довольствия, чему, понятно, все обрадовались — изголодались порядочно. На этот раз нас не обманули, пищи прибавили. Утром мы получили по чашечке кофе, в обед по небольшому кусочку мяса, и ужин стал значительно гуще.

Через несколько дней прислали нам газеты и книги. Но что это были за книги! Действительно, посылавшие их постарались. Жития святых да рас-

сказы про разные подвиги князей и бояр! Газеты были подстать книгам: „Русь в защиту родине“ с подзаголовком — „Орган комитета борьбы с пораженчеством“, „Русский солдат - гражданин во Франции“ и т. д., читай, мол, и вразумляйся!

Конечно, вся эта „литература“ нас возмутила, многие ругались, и правда, больнее уязвить нас нельзя было.

К нам привезли еще четырех арестованных из Курно, чего-то они там не выполнили, ну, и решили, что они прониклись нашим духом. Одного из них куда-то скоро отправили. А те девять человек, которых выдавали за таких больших преступников, очутились в наших камерах, — они оказались просто какими-то сектантами. Находясь еще в отряде, они задумали бежать в Америку, но были пойманы и водворены таким образом в тюрьму.

Прорвались к нам сведения и об арестованной вместе с нами после разгрома Куртина так называемой 2-й группе. Она находилась на каком-то острове, тоже в ужасных условиях. Кроме того, охранявшие нас французские часовые сообщили нам, что здесь же в Бордо, в цитадели, есть еще немало наших товарищей, которых держат тоже очень строго.

Улучшение нашего продовольственного положения оказалось временным. Мы и раньше замечали, что от нашего скудного пайка сержанты потихоньку пользуются и берут с кухни, что им вздумается. После увеличения рациона они совсем обнаглели и стали красть продукты во все большем и большем количестве.

Пища стала из-за этого снова хуже. Фасоль опять начали выдавать с червями. Принесут бывало обед и, прежде чем приступить его есть, все вылавливают сверху червей. Как ни ловили, все-таки приходилось есть с ними, — всех не было возможности выловить, а голод — не тетка.

Писали заявления и в одно место, и в другое, и в третье. Все было бесполезно. Обратились, наконец, к русскому консулу. Он явился через неделю.

Мы осветили ему наше положение, прося устранить безобразия, от которых нам приходилось страдать, указали на поступки сержантов и т. д. Он нашел все наши просьбы вполне основательными и обещал сделать все, что от него будет зависеть, а об остальном довести до сведения кого следует.

Но только он вышел за ворота, как сержант вызвал наших товарищей, которые жаловались консулу на тюремные безобразия, и стал их ругать отборнейшей руганью, то и дело поднося кулаки к их лицу и хватаясь за револьвер.

Мы его предупредили, чтобы он кулаками и револьвером не грозил, — этим он нас не запугает. Он ответил, что надо было обо всем сказать ему, а не распространяться при посторонних. Мы рассмеялись на это: интересно было знать, если бы мы так поступили, какой бы получился толк?

Один из наших товарищей, Синенок, напомнил сержанту, как он уничтожил пришедшее из России письмо, в котором находился бумажный рубль. Рубль сержант взял себе. Конечно, дорог был не рубль, на него все равно ничего нельзя было купить, а письмо.

Едва Синенок кончил, как сержант выхватил револьвер и, рассвирепев, бросился на него. Его одернули, не допустив до расправы, но Синенка он все-таки стащил в карцер, несмотря ни на какие наши протесты.

Мы решили объявить голодовку, чтобы вызвать кого-либо из „высших", кому можно было бы указать на поведение сержантов, которые чувствовали себя прямо царьками, а также добиться освобождения товарища Синенка. Обо всем этом нами было

объявлено в 4 часа вечера того же дня, но так как товарищ Синенок к вечеру выпущен не был, мы поняли, что с нами не хотят считаться.

Когда нас вечером закрыли на ночь в камерах, мы, обсудив создавшееся положение, решили вызвать прокурора Лисовского и продолжать голодовку до его приезда.

Утром мы вымели помещение и двор. Повара на кухню не пошли. Сержант пробовал было, с револьвером в руках, заставить поваров перетаскивать хлеб на кухню, но дальше этого у него дело не двинулось, — варить никто не стал.

Часов в двенадцать приехал комендант города Бордо, в сопровождении какого-то капитана. Войдя в тюремный двор, он приказал спуститься всем вниз, но никто не пошел. Выслали меня и еще одного товарища сказать, что никто никуда не пойдет, пока не будут выполнены наши требования.

Переводчик приставал ко мне, почему никто не выходит, ведь приказывает комендант города. Я ему ответил, что не каждый приказ исполняется, тем более, как ему известно, нам не привыкать не исполнять приказы, — за это нас и посадили в тюрьму.

Он не переставал твердить, что приказано немедленно спуститься вниз. Я ему опять ответил, что никто не спустится, и чтобы отвязаться добавил: все лежат больные.

Он не отставал, и я посоветовал ему самому подняться наверх. Он побежал наверх, но его там так приняли, что он тотчас же скатился вниз красный, как рак.

Комендант увидев, что на неоднократные свистки никто не выходит, попросил нас передать нашим товарищам, что он приехал объясниться с нами, а не за чем-нибудь другим, и хочет говорить

со всеми. Мы сообщили о его желании. Узнав в чем дело, все сошли вниз.

Комендант рассказал, что, узнав о начавшейся у нас голодовке и предъявленных нами требованиях, он немедленно телеграфировал прокурору Лисовскому, чтобы тот приехал.

Мы в свою очередь рассказали ему о сержантах, о применении ими грубой силы, об угрозах оружием, словом обо всем их поведении. Он прошел в карцер к тов. Синенку, поговорил с ним о чем-то и выпустил его оттуда. После всего этого он спросил: будем ли мы продолжать голодовку? Мы от него потребовали подтвердить отправку телеграммы Лисовскому. Он показал копии ее. Посоветовавшись между собой и видя, что предъявленные нами требования выполнены, мы решили голодовку прекратить, о чем ему и сообщили, предупредив, что если сержанты будут опять бросаться на нас с оружием и применять силу, пусть они пеняют на себя...

Чтобы не иметь никаких пререканий с сержантами и не входить с ними ни в какие сношения, мы объявили им бойкот. Повара встали на свои места, и через час мы уже пили кофе.

Вечер прошел спокойно. Во время поверки в помещение был введен вооруженный караул. Все выходы и входы были заняты часовыми, и сержанта, который проверял нас, сопровождал часовой.

На другой день с утра сержанты стали заклеивать окна канцелярии бумагой, наверно для того, чтобы не было видно, как они обделывают свои делишки. Они все время старались к чему-нибудь придраться, чтобы вызвать нас на скандал и отомстить нам...

В России за этот промежуток вероятно произошло что-то новое, серьезное. Это стало заметно по получавшимся нами газетам, которые заскрежетали по поводу событий в России сильнее, чем

когда бы то ни было до сих пор. Как потом выяснилось, это был Октябрьский переворот.

Продажные газетчонки, которыми нас „вразумляли“, исходили бешеной руганью, но мы сквозь нее чувствовали растерянность защитников Временного правительства и буржуазно-помещичьего режима...

В конце ноября мы получили телеграмму, в которой сообщалось, что прокурор Лисовский приехать не может, а вместо него приедет комиссар Михайлов, кроме того еще ожидался какой-то французский генерал.

Переводчик почему-то просил нас не волноваться, если кто-нибудь из вытребованного нами начальства не приедет. Тогда, по его словам, будут приняты другие меры. Какие — он не сказал, только просил быть спокойными и выжидать. Верно происходившие в России события давали себя знать, — даже мы перестали быть интересны начальству, ему очевидно приходилось думать о другом.

Вскоре как-то перед обедом сержант вызвал всех вниз во двор, где сообщил о только-что полученной телеграмме от прокурора Лисовского. В ней говорилось, что в ближайшем времени из нашей тюрьмы будут выпущены 74 человека. Нас было 91 человек, стало быть 17 человек должны были остаться. „Кто-то выйдет и куда, и кто останется?“ — думали мы.

Дни текли попрежнему томительно, безделье было полнейшее, единственно, что доставляло нам удовольствие, это было шагание вдоль камеры. Делалось и это автоматически. Ходили парами и в одиночку, разговаривали, потом садились, чтобы отдохнуть, и опять незаметно для себя поднимались и начали снова шагать взад и вперед, как звери в клетке.

Из газет как-то вычитали характерный приказ. Вот как он звучал:

ПРИКАЗ ПО РУССКИМ ВОЙСКАМ ВО ФРАНЦИИ И НА САЛОНИКСКОМ ФРОНТЕ

№ 144, 1 декабря н. с. 1917 года. Париж

По части инспекторской

Ввиду переживаемого нашей родиной острого политического момента приказываю, как это ни тяжело, всем военнослужащим русским, находящимся во Франции, не посещать увеселительных заведений, ресторанов, театров и пр. в военной форме. Вообще советую носить вне службы штатское платье. Желающим разрешаю и на службе быть в штатском платье.

Подлинник подписал: Представитель Вр. прав. генерал-майор
Занкевич

Верно: Начальник Тылового управления: Караханин

Выходило, что довольно. Отслужилось „доблестное войско". Всем глаза намозолило. Из этого приказа было видно, что надежда сотворить какую-нибудь боевую единицу под русским трехцветным флагом, что еще пытались сделать генералы, рухнула, в форме русской армии уже и показываться было опасно. Приходилось снимать мундир, а не то на улице еще морду разобьют.

Утром одного из декабрьских дней, когда мы шли умываться, обнаружили новость. Вместо одного часового внутри двора стояли двое, а в одном помещении окно было закрыто наглухо. Пронесли туда матрацы, кто-то узнал, что туда привезли и посадили французских солдат. За что,—не было известно нам.

В тот же день мы решили опять настаивать на вызове прокурора Лисовского, потому что наши требования фактически не были выполнены. Бросив нам по добавочному одеялу и сменив простыни, наши тюремщики вероятно думали нас этим удовлетворить. Но не это нужно было нам. Мы хотели ответа: почему нас все еще держат? Следствие закончено, почему же обвинительного акта не предъявляют? Почему за нас так горячо сначала взялись, а теперь

тянут? Нам нужно было окончательно выяснить наше положение. До каких пор мы обречены сидеть в этой ужасной яме?

Спал я тогда около второй двери, которая была наглухо закрыта. Она имела лишь небольшую форточку и „очко“. Через эту дверь надзиратели ночью делали проверку и наблюдения за нами. Часовые проделывали то же самое у выходной двери. Я стал замечать, что и днем кто-то смотрит через „очко“, нисколько не скрывая этого. Повидимому, это был кто-то не из тюремщиков, так как те проделывали это осторожно и большей частью ночью. Любопытство одолевало меня, и вот однажды, когда чей-то зрачок сверкнул в скважину, я приподнялся и спросил по-французски: Кто там и что нужно? Из-за двери донесся детский шопот:

— Папа мой здесь служит, а сейчас в этом помещении никого нет, я и прихожу сюда посмотреть на вас.

У меня быстро промелькнула мысль использовать мальчика для сношения с внешним миром, и с места в карьер я попросил его принести какую-нибудь последнюю газету, пообещав дать ему за это что-нибудь.

— Хорошо, — ответил он и скрылся.

Прошло два дня, а его все не было. Думали, что он передал наш разговор своему отцу и ничего у нас не выйдет. Но на третий день, часов около двух, когда я лежал на своем месте, щелкнул затвор у форточки, и мне на голову упала газета. Поднявшись я посмотрел в „очко“, оно было закрыто, мальчик скрылся.

С жадностью мы стали разбирать газету. В ней как раз писалось о русских солдатах, о необходимости использовать их на работу, при чем не только „благонадежных“, которые были под крылышком у генералов, но и всех остальных. Были помещены условия, на которых можно было нанимать на работы русских, исключая тех, которые находились под по-

дозрением, и, конечно, тех, которые были разбросаны по тюрьмам.

Условия были как будто бы сносными. Но все попавшие на работу, как мы узнали потом, получили совсем не то, что значилось в условиях. Русские солдаты были буквально обращены в рабство на этих работах. Кто пробовал протестовать, попадал в карцер или в тюрьму как подстрекатель и бунтовщик. Работавшие у помещиков всецело находились в зависимости у них. Что хотели хозяева, то и делали. Хотели платили, хотели нет, или же сколько вздумается. Кормили как хотели, а насчет работы не извольте беспокоиться, сколько влезет. А если заболел, вместо помощи отчаянная ругань, попреки, что даром ешь хлеб, симулируешь. Жилищами на работах для русских солдат по обыкновению служили сараи, коровники, бараки и, в лучшем случае, старые казармы. Так впоследствии пришлось существовать многим из тех, которые кричали: „война до победного конца" и были заодно с офицерами, думая, что их дружбе не будет конца.

В середине декабря переводчик сообщил нам, что со дня на день должны притти списки на 74 человек, которых обещали выпустить. Когда мы спросили его: сняли ли с них обвинение, или же за ними и не было никакой вины и что же их тогда мучили столько времени? — он ответил:

— Виноваты все вы, этого оспаривать не приходится. Кто же, как не вы, разложили такой большой и хороший отряд, который теперь не только на фронт опасно посылать, но даже и на работу! Вы все большевики, даже и те, что еще не арестованы, но создалось такое положение, что часть из вас нужно отсюда отправить. И отправят их вероятно на остров.

Он не указал на какой. Мы подступили к нему с расспросами, но он ушел, заявив, что и так разболтал лишнее.

Положение ухудшалось, наступали холода. В нашем помещении стужа стояла неймоверная. Сидеть было невозможно. Приходилось все время ходить для того, чтобы хоть немножко согреться. Печки ставить, по-видимому, и не думали.

Через день опять пришел переводчик и передал, что списки на тех, кого будут отправлять, уже получены. Но спустя несколько часов, он поспешил сообщить, что получена новая телеграмма, чтобы людей не отправлять, так как к нам должна приехать комиссия, которая и займется этим делом.

Действительно, через несколько дней приехала комиссия и водворилась в канцелярии. Стали вызывать туда по одному, где, ничего не объясняя, задавали вопрос: согласен работать или нет? Многие из товарищей, прежде чем отвечать на этот вопрос, пробовали выяснять положение, в котором мы находились. Было странно, почему у нас вдруг спрашивают согласия на работу, в то время как до тех пор наше согласие никогда не требовалось. Может быть, оно понадобилось, чтобы потом можно было сказать, что мы согласились сами. Вероятно это нужно было на случай протестов с нашей стороны в будущем.

Некоторые спрашивали: какая будет работа, для нужд войны или нет? Так как у нас было решено раньше на нужды войны не работать, комиссия ни на один вопрос не отвечала, а только требовала ответа с нашей стороны, согласен на работу или нет.

Несмотря на то, что мы не были подготовлены и обсудить этот вопрос не успели, мало кто из наших товарищей ответил согласием на работу. Таких нашлось не больше десятка, а большинство на вопрос о согласии ответило: нет.

Я попал одним из последних в канцелярию. Там за столом сидели оба наших надзирателя-сержанта и что-то писали. Рядом с ними находились: фран-

цузский врач в чине подполковника, переводчик и русский врач 5-го полка. Он и обратился ко мне с вопросом: желаю ли я работать, при чем добавил, что отвечать нужно кратко: „да“ или „нет“.

Я ему ответил:

— На ваш вопрос отвечать не буду, так как, прежде чем ответить, должен задать сам несколько вопросов, но знаю от опрошенных товарищей, что вы ни на какие вопросы не отвечаете, поэтому нам и разговаривать не о чем.

Французский подполковник уже выражал свое нетерпение и обратившись ко мне, спросил по-французски: „да“ или „нет“? Я промолчал, повернулся и вышел.

Особенно непонятно в этой истории было то, что врачи спрашивали о желании ехать на работу, но и не подумали осмотреть или хотя бы спросить нас: не больны ли мы и можем ли мы работать? Ведь один наш вид говорил о том, что среди нас $^{3}/_{4}$ не могли бы сразу приступить ни к какой работе, так были все мы истощены.

Наконец, после всей этой канители переводчик принес списки и стал читать фамилии отправляемых. Моя фамилия тоже была зачтена, но, заглянув в список, я увидел, что имя было не мое и рота была другая. Однофамильцев в тюрьме не было. Стало быть меня отправляли по ошибке за кого-нибудь другого.

Вечером в тот же день неожиданно приехал консул города Бордо в сопровождении полковника Грановского, который объявил, что он в настоящее время является для русских военных комендантом города Бордо и его окрестностей, а потом понес такую околесицу, что его никто и слушать не стал, догадались, что он был на „девятом взводе“.

Консул объяснил, что с тех, которые уезжают, обвинение снято. Офицер французской службы, ко-

торый находился с ним, добавил, что обвинение снято и с тех 17 человек, которые остаются. Их тоже должны увезти из Бордо дней через 7. Задержка произошла, мол, из-за того, что не готовы на них списки.

Ушли консул с „комендантом“ от нас, когда совсем стемнело. Нас, отъезжающих, отделили от других и заперли в одну камеру. Всю ночь почти никто из нас не спал.

Утром дали нам консервов и хлеба на два дня и разделили на 4 группы, не дав даже попрощаться с товарищами, которые оставались.

Вывели нас из тюрьмы, сдали конвою из артиллеристов и разместили по трамвайным вагонам. Конвой был внутри вагонов и на обеих площадках.

„Ничего себе, думали мы, — обвинение с нас снято, а из тюрьмы увозят под конвоем, да еще под каким!“ На вокзале публика встретила нас с удивлением. Завидев нас, несколько японских офицеров оживленно заговорили между собой, показывая на нас пальцами.

Нас проводили к пассажирскому поезду, где посадили в 3-й класс, в каждое купе по 6 человек при двух конвойных.

Наконец-то, поехали! Но куда? Едва ли на свободу, обстановка говорила против такого предположения. Проводников было что-то много, да все с винтовками, а винтовки поставлены на боевой взвод... Это нам, как солдатам, достаточно красноречиво говорило о том, что в нашем положении немного изменилось.

Что-то переживали оставшиеся наши товарищи? Им вероятно тяжело там, в этих камерах, сидеть такой маленькой кучкой, вдобавок в тягостном ожидании чего-то неизвестного? Что за смысл был разделять нас? Тем более, что некоторые из оставшихся совершенно никакого отношения к Арутунскому делу не имели.

Так закончилось наше сидение в тюрьме города Бордо.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Остров Д'Экс. На работах. Побег в Швейцарию

Ехали мы почти без остановок. В семь часов вечера приехали на станцию Рошфор. Здесь нас высадили окружили конвоем и по темным переулкам провели в пустые артиллерийские казармы. В помещение на полу валялись грязные тюфяки, на них по одеялу и соломенной подушке. Ну, и на этом спасибо!

Мы поели и легли спать. Я и еще несколько товарищей пытались что-либо разузнать от часовых, но безрезультатно. Или они ничего не знали или им было строго запрещено с нами разговаривать. Все наши вопросы оставались без ответа.

Утром подняли нас рано, вывели во двор, где выстроили в две шеренги, сделали проверку, дали по маленькой чашке горького кофе и мы тронулись в путь.

Через полчаса мы уже были в порту, где нас ожидал пароход. Сделали посадку, и минуты две спустя пароход отчалил.

Плыли проливом, мимо каких-то маленьких островков, которых и на карте-то наверное нет. В море изрядно покачивало.

После двухчасового плавания показался небольшой остров. Не доезжая двухсот метров до него, наш пароход остановился. От острова подошел небольшой буксир, который нас в два приема перевез на берег.

После проверки нас повели вглубь острова. Он был почти совершенно лишен растительности. По пути попадались маленькие домики, повидимому, немногочисленных обитателей да казармы.

Пройдя с километр, мы подошли к каменному двухэтажному домику, очень простому на вид. На крыше его красовался герб с орлом. Как мы узнали, в этом

домике был временно заключен Наполеон, до его отправки на остров святой Елены. Теперь здесь была размещена комендатура.

Вокруг нее бродили несколько французских офицеров, видимо к острову никакого отношения не имевших и думавших лишь о том, как бы поскорее удрать с него. Нам стали выдавать одеяла. В это время к комендатуре подошли еще шесть человек. Это были наши, куртинцы, которые были отправлены со 2-й категорией.

Разговорились, оказалось на острове была вся наша 2-я категория. Одна часть ее была помещена в казармах, мимо которых мы только что проходили, а другая—в крепости.

Нас тоже направили в крепость. Несмотря на то, что мы от нее находились близко, небольше, чем в километре, ее не было видно. Это потому, что она находилась в очень низкой местности, ниже уровня моря.

Пройдя через несколько ворот и мимо караула, мы вошли во внутрь. Нас встретили многие наши товарищи, которые стали нам помогать размещаться по камерам.

Камеры здесь не закрывались Это были мрачные, глухие казематы, небольшого размера, низкие, темные. Все они имели по одному окну и дверь. Расположены они были рядом один с другим и тянулись по фасаду всего здания, которое из себя представляло круг. В середине был небольшой двор. Все это напоминало цирковую арену.

Сообщения между казематами никакого не было, попасть из одного в другой можно было только через двор.

Уборные и водопровод отсутствовали. Со двора ничего не было видно, кроме клочка неба. Колодец, а не двор.

Сильные ветры, попадавшие с океана в этот колодец, были здесь невыносимы. А ведь во дворе приходи-

лось умываться. Многие предпочитали не мыться, чтобы не заболеть, и выжидали тихой погоды.

Толщину стен казематов определить было трудно, крепость вся уходила в землю. Крыша крепости вся заросла травой, по которой бесшумно разгуливали кругом часовые.

Вообще крепость представляла из себя мрачнейшую дыру. Построили ее при каком-то Генрихе III, не то IV.

От товарищей мы узнали, что их житье-бытье было не сладко. Над ними глумились и издевались, даже в мелочах. Доходило до того, что привозили провиант, но не давали дров. И из-за этого все сидели голодные. Если же узники начинали что-нибудь требовать, в ход пускались всяческие взыскания. Как раз, когда мы прибыли, все товарищи сидели за какую-то провинность без табаку. Комендант острова не терпел, чтобы пустовал карцер. К нашему приезду в карцере находилось человек восемь.

Власть на острове была представлена тремя лицами. Русский офицер, поручик Павлов, был в роли не то ротного командира, не то просто тюремного надзирателя. Он ничего не делал и, когда к нему обращались, всегда прикидывался незнайкой. Другое начальственное лицо, переводчик, был совершенно безличен. Зато комендант, поручик французской службы, был полным хозяином на острове, форменным зверем и деспотом. Что хотел, то и делал.

Все это мы узнали со слов наших товарищей.

И с нами сейчас же начали проделывать то же, что и с нашими товарищами. Не давали нам ни мисок ни ложек; как хочешь, так и ешь. Не выдавали и мыла, а тела наши настоятельно его требовали.

Проведя так два дня, мы решили обсудить положение и что-либо предпринять. Попытались устроить собрание, но это нам не удалось. Караул заметил и разогнал. Пришлось обсуждать по отдельным казематам. Решение приняли такое: выслать делегатов

для переговоров с „троицей“, то бишь с хозяевами острова, по вопросам, которые нас волновали. Выбрали двоих: меня и еще одного товарища. Уговорили начальника караула, чтобы тот пропустил. Он согласился, нам дали конвой, и мы отправились. Выползли на поверхность и через некоторое время пришли к комендатуре, где находилась „резиденция“ поручика Павлова. Тот оказался больным и выйти к нам не пожелал, а коменданта и переводчика не было, пришлось вернуться обратно.

На другой день нам не дали дров, и все мы остались без пищи. Часовые говорили, что это нам не иначе как за делегацию. Часов в 12 дня мы попросили дать опять конвойных, чтобы проводить нас к начальству. Пришли снова к наполеоновскому дому, опять никого не было. Нам сообщили, что „изволят кушать в кафэ“. Решили итти туда, но конвойные не хотели нас сопровождать, боясь гнева начальства, тем более что арестованных в кафэ вводить нельзя. Мы стали настаивать, мотивируя тем, что в кафэ посторонней публики не было. В самом деле, до каких пор мы должны были ловить начальство? Мы заявили, что никуда, кроме как в кафэ мы не пойдем и в крепость нас придется нести на руках.

Конвойные посоветовавшись решили сопровождать нас в кафэ. Кафэ помещалось недалеко от комендатуры.

Часовой доложил, нас разрешили ввести. В кабинете сидели комендант, переводчик и французский врач. Я обратился к переводчику: „Чем объяснить, что мы систематически остаемся без пищи лишь из-за того, что не додают нам то того, то другого. Кроме того нам, вновь прибывшим, не дали ни ложек ни мисок. Свиньям и тем корм дают в чем-нибудь“.

Переводчик перевел мои слова коменданту, но в более мягкой форме. Тот буркнул в ответ:

— Будет прислано.

Дальше я его спросил, почему не выдают белья и одежды. Мы видели, что белье на остров уже привезено, люди же ходили раздетыми.

Переводчик опять перевел, комендант ответил, что разрешение этого вопроса он передаст поручику Павлову.

Тогда я попросил спросить, почему же, наконец, не дают мыла и табаку. Переводчик не стал этого переводить, а ответил сам, что раньше табак выдавали, но, когда солдаты отказались от работы, перестали и давать не будут.

Комендант, сидевший молча, при слове „табак" вскочил и злорадная улыбка засияла на его лице. Обратившись к переводчику он сказал: — Да, табак вещь небольшая, но с ним можно много что сделать, иногда он действует лучше всякого карцера.

На столе у них красовалось порядочное количество бутылок. Видно было, что кампания чувствовала себя недурно. Верно благодаря тому, что у нее было прекрасное настроение, не оправдались опасения нашего конвоя и мы не попали с места в карьер в карцер.

Однако, когда мой товарищ вынул из кармана записку, желая проверить не забыто ли что-либо из того, что нужно было выяснить, комендант рассвирепел как зверь. Он выхватил записку и закричал:

— Чтобы больше ко мне с записками и разными там прокламациями не являться, иначе буду сажать под арест.

Конвою было приказано вести нас обратно.

Часа через два после нашего возвращения в крепость явился комендант и, узнав, что мы сидим еще без обеда, вызвал 17 человек, дал конвой и направил их за дровами. Больше ни о чем не стал разговаривать, повернулся и ушел.

Так прошло шесть дней в одинаковом положении. Часовые из охранявшего нас караула, воспользовавшись тем, что мы сидели без табаку, самосильно

спекулировали им. Они расценивали обыкновенный солдатский табак, который им выдавали, вместо 15 сантимов в два франка, выманивая у нас все, что могло пойти за эту цену. Некоторые снимали гимнастерки, оставались в шинели, одетой прямо на голое тело, зато покуривали в течение нескольких дней, хотя и с большой экономией, каждая затяжка была на учете.

В этот период как-то зашел переводчик и в разговоре с нами намекнул, что вскоре всех отсюда куда-то отправят.

Все чувствовали себя очень плохо, приходилось сидеть все время по казематам, так как ветры, дувшие все эти дни с океана, не позволяли долгое время оставаться во дворе. Все еще больше похудели и жаловались на недомогание.

Наступил новый год, привезли консервы (вероятно по случаю праздника), но дров опять не дали: вот и свари обед. Вдобавок, вечером караульный начальник не пустил за водой неизвестно по какой причине. Так целый день и сидели без чаю и обеда. Только на другой день, к трем часам, выдали дров и воды.

Нельзя было понять — что это: по халатности или же нас систематически изводили!

Слуху о предстоящей отправке мало кто верил. Дня через два после нового года легли спать, как всегда, ничего не ожидая. Под утро, часов в пять, я проснулся от шума и увидел, что мои товарищи по каземату уже проснулись, а часть из них была уже одета. Спросил, в чем дело. Оказалось, ночью пришло распоряжение от поручика Павлова, чтобы обед и ужин были сварены вместе и розданы, к восьми часам утра нас должны были со всеми „монатками" вывезти из крепости.

Мы съели обед и ужин сразу и под конвоем покинули крепость.

Нас привели на плац острова, где уже дожидались комендант, переводчик и поручик Павлов.

Последний вынул список и стал выкликать по фамилиям. Вызванных ставили отдельно. Так набралась группа человек в 50, которую построили и повели в казарму.

Мы остались на месте, от нас стали отбирать одеяла, миски и проч. После этого сделали проверку и отвели нас в сторону.

Через некоторое время принесли табаку и стали давать всем понемногу, бумаги же не дали. Когда мы об этом напомнили, начальство пошепталось между собою и выдало по книжке курительной бумаги на четверых.

Через час нашу партию привели на дамбу и стали перевозить на стоявший невдалеке буксир и на баржу, которая была прикреплена к нему. Там нас разместили опять под конвоем, моментально сняли сходни и перевозивший нас катер быстрым ходом отошел от нас.

Для нас все это было полной неожиданностью. Тут только мы поняли, что с острова отправляют не всех. Наша партия составляла около двухсот человек. На острове значит остались все те, кого от нас отделили на плацу, то есть 50 человек.

Мы заволновались — почему везут не всех, почему нас разъединили с товарищами. Зашумели. Конвой насторожился.

Сержанты и начальник конвоя сидели по кубрикам, в тепле. Сержанты выскочили и начали было кричать на нас. Мы потребовали начальника конвоя. Тот не пришел, а велел притти к нему. Пошли человек десять. Он стоял у входа в каюту. Мы сразу спросили, почему нас взяли с острова не всех. Он развел руками, заявил, что не знает, но предполагает, что всех повидимому сразу перевести нельзя.

— Наверное, — добавил он, — решено перевести в два приема: сперва вот вас везут, а потом перевезут и остальных ваших товарищей.

Нам ничего не оставалось делать, как поверить ему, хотя многие из нас сомневались в его уговорах.

Задали мы было вслед за этим вопрос: „А куда же нас должны доставить?“

Он отрезал, что на такие вопросы отвечать не может. Разговор кончился. Он ушел к себе, сержанты были заметно недовольны тем, что их начальник так мягко обошелся с нами. Они почему-то были враждебно к нам настроены.

— Зачем вас возить с места на место, — ворчали они, — проще было бы посадить вас всех на баржу, что прицеплена сзади, да и утопить в море.

Тащили нас очень медленно и замерзли мы отчаянно. К вечеру привезли в Рошфор. Поместили в тех же артиллерийских казармах, дали нам поужинать. На этот раз покормили как-будто получше. Или может быть нам с холоду и голоду так показалось.

Из Рошфора нас отправили в тот же день. По дороге встретились с эшелонами американских солдат. Те удивлялись, что нас везли с „приложением“, то есть под конвоем; кричали, что войне скоро конец и что они воевать долго не намерены.

В городе Доль нас поместили не то в казармы, не то в какую-то старую крепость, но очень уж это помещение смахивало на запущенные конюшни. Правда, из нас мало кто обращал внимание на окружающую обстановку после всего, что мы перенесли. Невольно приходилось задумываться, как бы в „культурной“ Франции не растерять даже нашу какую ни на есть азиатскую культуру. Мы рисковали вконец зарасти грязью и обовшиветь.

После ночевки в Доле везли нас недолго. Поезд остановился на маленькой станции, носившей название „Убежище св. Марии“. Нас высадили. Оказалось, что это конечный пункт.

Местность выглядела очень пустынно. Невдалеке от полустанка было селение, куда нас и отвели. Там произвели разбивку на группы. Меня с одной из групп отправили дальше в соседнюю маленькую деревушку. Разместили нас по домикам крестьянского типа, в которых не было ничего кроме нар, устроенных вдоль стен.

В нашем доме имелась еще железная печурка.

Теснота была такая, что на нарах приходилось спать вплотную, упираясь в бока рядом спящим. Зато от этого было теплее.

На следующий же день, с раннего утра, нас погнали на работу по прокладке и починке шоссейных дорог. Пищу в первые дни нам доставляли из той деревушки, где осталась наша первая группа, и лишь некоторое время спустя устроили кухню в нашем помещении.

Пища была отвратительная. Хлеб, когда он был свежий, имел еще нормальный вид, а как только начинал черстветь, принимал зеленый цвет. Об остальном лучше и не говорить. Давалось все в таком количестве, что хватало только обогреть кишки, зато на работе конвой только и знал, что покрикивал:

— Работай! Работай!

Закурка, то есть промежуток для отдыха, давалась редко.

Холодная, дождливая погода изнуряла всех. При плохой одежде, при рваной обуви товарищи быстро начали болеть. Медицинская помощь изредка появлялась в лице французского военного врача, который не признавал вообще никаких болезней. В редких случаях давал какой-нибудь порошок. Про освобождение от работ нечего было и думать. Когда товарищи заявляли, что они не в состоянии работать, он неизменно говорил:

— У нас есть великолепный госпиталь и называется он — „карцер“.

Другие товарищи, приехавшие с нами, попали в еще худшее положение — им пришлось работать в „карьерах“, где работа была много тяжелее.

Однажды, находясь на работе, мы увидели, что в наше расположение ведут партию русских. Мелькнула мысль, что это вероятно привезли оставшихся на острове. Но каково же было наше удивление, когда прибывшие оказались курновцами, которые так усердно стреляли по нас. „Уж не для охраны ли их сюда прислали?“ — забеспокоились мы. Однако вооружение у них было такое же, как и у нас, то есть кирки да лопаты. Зачем же они попали сюда? Ну, нам-то, изменникам, оно вроде так и подобает, а они ведь „защитники“, когда-то кричавшие: „Война до победного конца!“ и вдруг здесь очутились, да еще в таком „вооружении“.

Подошли они, распределили им участки работы, конвой крикнул: „За работу!“

Во время первой же передышки они начали нас укорять, что вот мол из-за нас и им приходится работать. Во всем, что произошло за последнее время, они винили только нас. Не будь нас, все было бы хорошо, и они бы жили спокойно.

Наши не остались в долгу:

— Что же, подхалимничали, подхалимничали, пятки лизали, а награда как-будто одинаковая?

Потом мы ежедневно встречались на работах. Помещались курновцы где-то в другом месте, откуда их и приводили на работу.

Некоторые из них сознали свои ошибки. Между ними уже поднималась грызня. Одни упрекали своих „активистов“:

— Ну, вот результат того, что мы слушали вас и пошли с офицерством: теперь стыдно в глаза смотреть своим же товарищам, с которыми вместе страдали в окопах.

„Активисты“ в ответ только грозили:

— Подождите немного, положение изменится, мы вам покажем. —

Вероятно они еще надеялись, что высшее командование придет им на помощь и вознаградит их за „покорность и долготерпение“.

Одеты они все были хорошо, чисто, выглядели тоже не так, как наша братия.

Из разговоров с ними мы узнаем, что и кормили их гораздо лучше.

Русское офицерство, находившееся при нас в качестве надсмотрщиков, пробовало нас провоцировать. Курновцам говорили, что мы их всех хотим убить по одиночке или искалечить. Нам же напевали:

— Что же вы мол смотрите, они по вас стреляли, жили в Курно за ваш счет, а теперь лезут к вам в друзья-приятели.

Вероятно офицерам хотелось и здесь устроить среди нас свалку и таким путем свалить всю вину за свои проделки на нас, а самим остаться в стороне.

Вся жизнь наша сводилась к тому, чтобы рано, когда еще было темно, вставать и до темноты работать. В награду за это мы получали бурду вместо пищи, окрики и пинки от часовых, а от офицеров как от французских, так и русских, угрозы арестом и кандалами.

Провести собрание и думать было нечего. Что либо передавать в другую группу приходилось очень осторожно.

Узнав, что за видневшимися на горизонте горами — Швейцария, мы начали думать о том, как бы удрать. Иначе издевательствам конца не будет, рано ли, поздно — все равно доконают.

Однажды, во время работы, мы продрогли до последней возможности. Конвой, тоже замерзший и промокший, ввел нас погреться в дома и сараи.

Я попал в дом, где были девочка-подросток

и старик. Просматривая книги, лежавшие на столе, я машинально открыл учебник географии, где увидел карту той местности, где мы работали. Это был для меня настоящий клад. Я незаметно вырвал карту из книги. (Да простит меня хозяин дома за эту кражу!) Теперь я мог привести свой план в исполнение. Хотя карта была очень старая и неясная, но все-таки по ней можно было видеть, куда и в какую сторону нужно бежать. Изучив все это и проверив в ближайшие же дни дороги, я окончательно решил бежать немедленно.

Положение ухудшалось. В соседних группах несколько товарищей были посажены под арест. По-видимому, нас все-таки хотели опять обратить в солдат. Еще не теряли надежды использовать нас в качестве пушечного мяса.

Нас перевели уже на французскую службу, и начали учить их строевому уставу. И честь отдавать заставляли и не забывали про аресты напоминать. Забывали только одно, что мы уже не солдаты „его величества", а мятежники из лагеря ля-Куртин.

Итак побег был окончательно решен.

Как-то вечером мне пришлось итти после работы за хлебом в домишко, где помещалась часть наших товарищей. Там у одного из них был мой маленький компас. В полутьме я еле нашел товарища, припрятавшего мой компас. Увидев, что я его забрал, все разом спросили: — Для чего берешь? Бежать хочешь? — Пришлось сказать. Стали расспрашивать о направлении. Объяснил все, что сам знал: какие имеются дороги и где лучше пройти. Многие оживились, заговорили: — Ну, счастливо! И мы скоро за тобой. Лучше пулю заработать в лоб, чем здесь терпеть!

Вернувшись обратно с хлебом, я лег спать. Рядом лежавший тов. Лисовенко ворочался, не спалось ему.

— Бежишь? — грустно спросил он и добавил: — Возьми меня с собой.

— Откуда знаешь?

— Видал, как компас в спичечную коробку прятал.

Я предупредил, что побег может быть неудачным. Он соглашался на все, лишь бы не оставаться здесь.

Несколько дней шла подготовка. Ждали удобного момента, копили хлеб.

Наконец назначили день побега. Собрали незаметно „провиант“ — несколько кусков хлеба, немного табаку. Все это я уложил в единственную грязную рубашку, которую снял с себя. Лисовенко взялся проскользнуть незаметно во двор, а оттуда на дорогу, где в условленном месте должен был ожидать меня, лежа в канаве. Я же, спрятав фуражку в брюки, взял рубашку с хлебом и небольшим кусочком сала, которым снабдил нас повар с кухни, подошел прямо к часовому и попросил разрешения выстирать рубашку в ручье, протекавшем около самого дома. Он согласился, выпустил, предупредив наружного часового, чтобы тот посмотрел за мной.

Я подошел к ручью и начал руками плескать воду, делая вид, что стираю, чтобы часовой слышал. Видеть он хорошо не мог, так как было уже темновато. Пополоскавши минут пять и заметив, что часовой успокоился и перестал наблюдать за мной, я юркнул в кусты и бросился быстро бежать к дороге, где меня ожидал Лисовенко.

Тихий условный свист, и Лисовенко уже бежал рядом со мной по намеченному маршруту, к горам.

Пробежали километров около трех канавами и кустарниками, добрались до подножия горы, стали быстро на нее взбираться, не останавливаясь. Достигнув густого леса на горе и взобравшись уже на порядочную высоту, откуда вся долина была

видна, как на ладони, буквально свалились с ног от усталости.

Руки и ноги ныли, голова кружилась и в ней шумело так, будто чем-то ударили. Тяжело дыша, оба мокрые от пота, мы взглянули друг на друга и радостно рассмеялись.

Побег начался благополучно. Теперь только добраться бы до границы и проскользнуть благополучно через нее. Так и хотелось крикнуть: — До свидания тюрьмы, издевательства, оскорбления! — Но мы еще находились на французской территории, а впереди мало ли какие сюрпризы могли быть.

Было уже темно. Рассмотрев карту при свете спички и взяв направление, мы двинулись дальше. Нужно было торопиться перевалить гору, на которой мы находились. Итти здесь было безопасно — мы шли таким местом, где люди не ходили. На вершине нам стало очень холодно, после пота стал пробирать озноб. Внизу в тумане ничего не было видно.

Вышли наконец на большое „плато“. Кругом был дикий камень. Тишина стояла полнейшая. Не чувствовалось никакого живого существа. Воздух был чистый, дышалось легко.

Стали спускаться, из-за темноты ежеминутно рискуя сорваться, полететь вниз и разбиться. Подвигались из-за этого очень медленно. Спустились в долину, покрытую рыхлым снегом. На наше несчастие луна светила отчаянно ярко. А нужно было во что бы то ни стало долину перейти — там наше спасение, там граница!

Остановились, поели немного хлеба, посоветовались друг с другом, решили перейти долину перебежками и, постепенно, перебегая от дерева к дереву, прикрываясь ими и попадавшимися кустами, усталые, благополучно ее перешли.

Стали подходить к следующей горе, заметили у дороги проволочные заграждения. Послышались шаги. Мы залегли быстро в проволочные заграждения, решив, в случае чего, даром не сдаваться, тем более, что цель была уже близка, а воспоминание о том, что осталось позади нас, придавало решимости.

Вероятно шли пограничники, их было двое, прошли они почти около нас, громко разговаривая. Выждав, пока они совсем скрылись, мы поднялись и пошли дальше.

Пришлось опять итти в гору. Были отчетливо слышны сигналы на рожках. Это перекликались между собой посты пограничников.

При спуске с горы, у самой границы, мы видели две дороги: одна служила повидимому для конных разъездов, другая — немного ниже — для пешеходов. В темноте чуть не наскочили на кордон. Пришлось взять направление, спускаясь вниз, левее.

Но вот уже пограничные столбы и канавы. Ясно, что мы достигли цели. Приостановились, осмотрелись — нет ли кого поблизости. Потом сделали разбег, перепрыгнули канаву, увязнув по грудь в снегу, быстро вылезли и, бегом, бегом в гору.

Бежали до тех пор, пока окончательно не свалились от усталости. Прилегли. Звуки рожков пограничников теперь раздавались позади нас.

Уже мы — на швейцарской территории, доели последнюю корку хлеба, оставшуюся у нас, и закурили. Отдохнув, решили итти дальше, как можно дальше от границы, все как-то не надеясь, что мы уже в безопасности.

Шли лесом и оврагами. Утро застало нас на склоне горы. Внизу протекала небольшая река, недалеко проходило железнодорожное полотно. Повидимому мы не так-то далеко отошли от границы за остаток ночи, а сделали большой крюк, двигаясь в темноте не туда, куда было нужно.

Пришлось снова остановиться на отдых, натаскали хворосту, разожгли костер, но хворост был сырой, костер горел плохо. Все же немного обогрелись, пообсохли, пошли дальше.

При переходе через железную дорогу мимо нас прошел поезд. Мы стояли на насыпи. Видно было, как из поезда некоторые пассажиры, увидев нас, замахали руками, указывая на нас своим соседям, как на что-то необычайное.

Начало опять темнеть. Около шоссейной дороги мы встретили женщину, она вначале испугалась, но потом спросила нас, кто мы такие. Говорила она по-французски. Я ей ответил, что мы русские, — пилили здесь недалеко дрова и сбились с дороги. Почему я ей дал такой ответ, я и сам не знал, видно голова уже плохо работала. Женщина посоветовала нам обратиться в полицию, указав, как пройти туда. На наш вопрос, действительно ли мы находимся в Швейцарии, она ответила утвердительно и пошла своей дорогой. Мы двинулись по шоссе дальше — уже открыто, не прячась.

Вдруг увидели, что навстречу нам идут два жандарма. Быстро залегли в кусты.

Мы пролежали так немало, но почему-то расстояние между нами и жандармами не сокращалось. В чем дело? Переговорив, мы решили встать и пойти прямо на них. Так и сделали.

Подошли — увидели две небольшие елки, которые стояли на изгибе шоссе и качали своими нижними ветками. Их-то мы приняли за жандармов! Расхохотались оба и пошли дальше.

Не прошли и двухсот шагов, как мой „камрад" Лисовенко начал неимоверно ругаться, потом немного успокоился, забормотал: — Чорт с ними, пускай закуют в кандалы, посадят, расстреляют! — и т. д., все в таком же духе. Я понял, что он бредит. Обессиленные недоеданием, голодовками, тюрь-

мами, побегом, дорогой мы еле-еле держались на ногах, шли уже в больном состоянии и временами впадали в бред.

Скоро перед глазами заблестели огни, прошел поезд, мы находились у небольшой станции. Вышли на платформу, которую подметал сторож, подошли к нему и спросили, находимся ли мы в Швейцарии. Тот не сразу ответил, приняв нас вероятно за пьяных, но разглядев, что мы одеты в остатки какой-то формы, сказал: „Да", и провел нас в станционный зал. Здесь мы в изнеможении опустились на стулья. Немного посидев, мы почувствовали себя лучше.

Пришел начальник станции, спросил, кто мы такие и что нам нужно? Мы ответили, что русские, и попросили провести нас в полицию. Он начал нам объяснять, как дойти до ближайшего местечка, где была полиция, но потом, верно заметив наше плохое состояние, дал нам провожатого, который нас минут через десять доставил в деревушку Вальрор.

В полиции на нас принялись составлять протокол. Собрались чуть ли не все полицейские местечка, расспрашивали, угощали табаком. Мы, попав в теплое помещение, совсем ослабели, а составлению протокола с многочисленными расспросами о нашем житье-бытье не было видно конца. Вдобавок голова от усталости плохо работала.

Я попросил комиссара отложить окончание протокола до другого дня. Он согласился.

Минут через 15 нас провели в нижний этаж, в небольшую, но жарко натопленную комнату, где ослепительно и заманчиво сверкали чистым бельем две кровати, а на столе стояли бутылка красного вина, две тарелки с супом, тарелка с картошкой и хлеб. Нас оставили одних, сказав, что мы можем всем этим распоряжаться. Мы сидели, смотрели друг на друга и не верили своим глазам: — Не сон ли это?

Или может быть опять бред, игра больного воображения? Но нет, несколько глотков выпитого вина дали себя чувствовать. Кажется, мы никогда такой вкусной картошки не ели и в такой натопленной комнате не бывали.

Теперь можно было сказать: — До свидания „свободная“ Франция!..

Мы уже хотели ложиться спать, но страшно зажгло ноги. Оказалось, мы отморозили их. Сняли сапоги — увидели, что кожа слезла и пальцы побелели. Нам дали мази, мы намазали отмороженные места и хотя с болью, но в тепле, сытые, более или менее успокоенные, с надеждой на лучшее будущее, заснули крепким сном, не чувствуя ничего и не предполагая, что попали почти-что из огня да в полымя.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

В Швейцарии

На другой день мы проснулись от усиленного расталкивания. Нам казалось, что не успели мы лечь, как нас уже будят. Так сильна была усталость. Если бы нас не разбудили, мы наверное проспали бы несколько суток.

Поднялись, умылись, выпили кофе. Только хотели спросить о дальнейшей нашей судьбе, как в комнату вошла масса народу. Оказалось всему местечку уже стало известно о нашем прибытии. Пришли поглазеть. Во главе вошедшей группы был сам мэр этого местечка с женой и своими домочадцами. Стали расспрашивать нас о всевозможных вещах.

Я спросил мэра: почему их так интересует наше прибытие? Он ответил, что русских солдат здесь не было со времен суворовского похода, никто их не видал, вот и сбежались посмотреть.

Долго разговаривать нам не дали — нужно было итти на медицинское освидетельствование на предмет того, не принесли ли мы с собой какой-нибудь заразы. Когда мы шли к врачу, по улице нас сопровождала толпа. На нас указывали пальцами, какбудто мы какие-то диковинные звери. Становилось даже совестно.

Врач, осмотрев нас очень внимательно, удивился, что мы так слабы и истощены, но заразного ничего не нашел. У обоих — язык и полость рта были в порезах. Он стал доискиваться причины, но мы и сами вначале не знали, отчего произошли эти порезы, а потом вспомнили, что когда шли по горам, то, чтобы утолить жажду, ели снег, который сверху был покрыт тонкой коркой льда. Этим льдом мы себе и порезали рты.

Мы вернулись от доктора и нас в сопровождении двух жандармов отправили на станцию. Посадили на поезд. Некоторое время спустя нас уже высаживали на вокзале, в городе Лозанне.

Здесь нас отдали в распоряжение начальника 1-го территориального округа и направили в казармы, стоявшие на горе. Нам отвели по койке с матрацом, подушкой и одеялом. Объяснили, что мы можем выходить во двор, но больше никуда.

Часа два спустя доставили еще троих русских, бежавших из Франции. Оказалось, что они бежали в один и тот же день с нами, но из другого места работ.

Нам всем сообщили, что вопрос о нас выясняется у консула, хотя мы ни о чем и не просили.

Появилось сообщение в газетах о нашем прибытии.

Нас стали осаждать русские эмигранты. Один из них, подойдя ко мне, предложил мне поговорить с ним наедине. Я согласился. Когда мы уединились, он сказал мне, что ему желательно знать действи-

тельное положение, в каком мы находились во Франции, что с нами произошло, где и как все было. Только начал я ему вкратце все описывать, как из казармы вышли часовые и предложили разойтись. Я крикнул, что сейчас иду. Товарищ, который со мной разговаривал, сказал, что он придет на другой день вечером к заднему концу двора у решетки, так как ему необходимо со мной договориться. Он повернулся и быстро ушел, а я пошел в казарму.

В этот вечер доставили еще две группы наших ребят, бежавших из Франции. На другой же день прибыли сразу 14 человек. Я спустился вниз и увидел наших пулеметчиков-куртинцев. Почти все были из 4-й пулеметной команды. Узнали друг друга, обрадовались. Разговорились. Они рассказали, что, когда открылся наш побег с Лисовенко, начальство пришло в ярость. Зато ребятам это пришлось по вкусу, и они решили при первом удобном случае тоже бежать. Наш побег послужил таким образом толчком. Это видно было на деле — около нас собралось уже человек 30.

Швейцарцы стали ходить и посматривать на нас с озабоченными лицами, намекали, мол не плохо было бы и вам поработать. Мы им ответили: — Пожалуйста, среди нас есть слесари, плотники и т. д. Давайте работу, работы мы не боимся.

Нам заявили уклончиво: — Сейчас пока работы по специальности нет, да и притом относительно вас ведутся переговоры. Может быть вы займетесь чисткой и вытряхиванием солдатских одеял? — предложили они нам.

— Ну, что же? Трясти одеяла, так будем трясти, пока наш вопрос не решится.

Вечером я виделся с товарищем, который мне назначил свидание. Едва я вышел во двор, как заметил, что он подходит к решетке. Он повидимому или куда-то торопился, или просто не хотел

долго оставаться у казармы. Расспросил у меня, чем я занимался в России и где работал. Он дал мне свой адрес и сказал, что если он мне для чего-нибудь особенного потребуется, то я его могу вызвать открыткой. Обо всем же другом он будет говорить лично, так что писать лишнего не нужно. Сообщил мне, что наши побеги из Франции в Швейцарию толкуют по-разному. Часть публики толкует это не в нашу пользу. Увязывал это с событиями в России, кратко сообщил, что происходит там и предложил мне написать подробно о наших французских мытарствах, так чтобы можно было поместить в газету. Я ему сказал, что написать могу, но только по-русски. Он ответил, что сделает перевод и поместит его в одном из партийных органов. Потом мы договорились о том, как будем в дальнейшем встречаться. Материал я ему обещал дать через два дня. Он просил также ставить его в известность о нашей жизни, о тех мероприятиях, какие будут приниматься по отношению к нам. На прощанье предупредил, что швейцарцами принимаются меры к тому, чтобы мы меньше соприкасались с вольной публикой, и назвал себя по фамилии и имени: Батурин Николай.

За это время прибыли еще беглецы из Франции и нас набралось уже человек около 50. Я решил организовать всех в одно целое, для чего переговорил с товарищами-куртинцами. Собрались, я доложил о необходимости и задачах организации. Выбрали комитет в составе пяти человек, председателем избрали меня и тут же наметили, что нужно было в ближайшее время выяснить и сделать.

Я зачитал им написанную мною статью под заглавием: „Что говорят русские солдаты, прибежавшие из Франции“ — для того, чтобы они могли внести поправки. Статью приняли без поправок, решили, чтобы я свою подпись не ставил, так как

можно было ожидать неприятностей. Я согласился, и подпись мною была поставлена такая: „Русские солдаты, прибежавшие в Швейцарию из 1-й и 3-й бригад“. Это говорило о том, что написанное в статье — общее наше мнение.

На этом собрании распределили вещи, которые доставили эмигранты: белье, верхнюю одежду, сапоги и пр. Они произвели между собой сбор ношенных вещей, чтобы хоть немного приодеть нас. Было очень много хохоту, когда ребята переоделись в эти вещи: клетчатые брюки, на голове военная фуражка, крахмальная сорочка и грязная гимнастерка и т. д.

Одеяла мы перетрясли и выколотили в течение двух дней.

В первых числах февраля, к нашему великому удивлению, нам объявили, что нас в ближайшие дни отправят на работы по мелиорации. Мы обратились за разъяснением, но нам объявили, что мы — дезертиры и находимся на положении интернированных, а потому нам никаких вольных работ, тем паче по специальностям, не полагается. Обсуждали мы этот вопрос на собрании долго и горячо, но пришли к выводу, что иного выхода не было — помощи ждать неоткуда, надо итти хотя бы и на эти работы.

У коменданта города появился какой-то швейцарец-солдат. Он исполнял всевозможные поручения по обслуживанию нас, говорил чисто по-русски и еще на нескольких языках. Фамилия его была Рамзай. Он все старался побольше узнать о наших настроениях, о чем мы говорим, любопытничал, с кем мы здесь из русских познакомились, где работали до войны? Ребята его избегали, считая за провокатора.

Впечатление он производил неприятное. Когда его спрашивали, почему он только простой солдат,

хотя было видно, что он — человек с большим образованием, он моментально переводил разговор на другую тему или уходил.

Я тем временем передал свою статью тов. Батурину, хотел с ним переговорить о создавшемся положении, но не удалось. Он куда-то уехал на день или на два.

Мы снова созвали собрание по вопросу о нашем положении. Было ясно, что причина нашего интернирования заключается в том, что швейцарцам нужна дешевая рабочая сила. Товарищи постановили — на работу отправиться, а мне, не соглашавшемуся с этим, не протестовать и ехать вместе с ними.

Отправка наша последовала неожиданно. На другой день после собрания утром пришел Рамзай и потребовал двоих старших унтер-офицеров, которые помимо нас были кем-то назначены из курновцев.

Созданный нами комитет игнорировался.

Мы на собрании предложили облюбованным комендантом унтер-офицерам без ведома комитета никаких переговоров не вести, в случае же, если они получат какие-либо распоряжения, немедленно, в первую очередь сообщать в комитет, и только после его разрешения действовать, как им будет постановлено.

Мы добивались, чтобы все шло через комитет. Но комендант и другие лица не желали ничего иметь с комитетом, делая вид, что они его не замечают.

Вызванные Рамзаем унтер-офицеры минут через 10 вернулись и сообщили нам, что нужно вытряхнуть все одеяла, которыми мы пользовались, и привести помещение в порядок, так как в 12 ч. дня нас отправят на работы. Через час помещение было в полном порядке. Мы устроили короткую летучку.

Часов в 11 пришел комендант в сопровождении нескольких лиц. Он сказал (Рамзай переводил), что нас сейчас разобьют на две группы и мы должны будем отправиться на земляные работы.

Ровно в 12 ч. мы покинули лозаннские казармы. Каждая группа направилась к месту своего назначения. Я попал в группу, которая направлялась в город Ивердон. По прибытии нас опять поместили в казармах. Также дали по кровати на каждого, по одеялу, по солдатскому котелку и по старому солдатскому обмундированию синего цвета. Это мол — рабочая одежда, в которой вы будете ходить на работу.

Скоро я узнал, что переданная мною Батурину статья была помещена полностью в одной из социалистических газет.

Нашим отрядом командовал швейцарский лейтенант. Было у него несколько помощников, в том числе и переводчик, какой-то безобидный старикан. Нас повели на работу, предварительно выдав нам рабочие номера, лопаты и другой инструмент. На работу ходить приходилось за город, около трех километров. Работа наша состояла в рытье канав на болоте. Поэтому ноги были всегда мокрые. Нам были выданы солдатские ношенные ботинки. Во время работы все время понукали, курить приходилось очень мало. На работу ходили рано и возвращались поздно вечером, так что после прихода оставалось только поесть и ложиться спать. По прибытии на работы мы опять сорганизовали совет. Установили связь с эмигрантами, вели переписку, получали от них литературу, правда в небольшом количестве, но все-таки кое-что распространяли среди своих ребят. Особенным успехом пользовалась большевистская литература.

После десятичасового, а иногда и более длительного рабочего дня, придя с болота, уставшие, про-

дрогшие товарищи стремились отдохнуть, но все-таки заполняли досуг чтением газет. Это отнимало немало времени, так как нужно было переводить. Русских газет мы не имели.

После работы мы по обыкновению ужинали и, отдохнув немного, ложились спать. Выходить нам можно было только во двор казармы, а в город, за ворота, которые были на запоре, не разрешалось. Хотя связь с внешним миром у нас была налажена, но поддерживать ее было трудно.

Однажды вечером мы устроили собрание и решили, что нужно добиваться, чтобы нам разрешили выходить в город. Отправились к швейцарцу-начальнику отряда, он категорически отказался дать нам такое разрешение и принялся кричать на нас, напоминая о воинской дисциплине. Его крик привлек общее внимание. Один из товарищей, разговаривавший вместе со мной с начальником, сказал: — Пошел он к чорту, мы и своих-то начальников приказания не исполняли никогда, а тем более дурацких.—После этого он повернулся и ушел.

Начальник стал кидаться на всех:

— Кто посмеет на работу не выходить? — Я ему ответил:

— Например я.

Он принялся грозить: — Арестую!

Мы ушли. Через полчаса прибыли жандармы и меня взяли, не дав даже поужинать.

Начальник какой-то небольшой тюрьмы, принявший меня, после ухода жандармов не знал, в какую камеру меня посадить. Осматривал то одну, то другую, а потом открыл пять подряд и предложил их на выбор. Я вошел в одну из них, где стояли деревянная кровать, стол и стул. Тюремный начальник притащил мне два матраца, три одеяла, две соломенные подушки и, не закрывая камеры, стал расспрашивать меня, как живется в России,

какие там порядки, почему мы бежали из Франции, за что меня привели сюда и т. д. Ему повидимому было интересно поболтать с русским солдатом.

Болтовне добродушного человека не предвиделось конца. Между тем голодный желудок давал себя знать. Я удивился при приводе, что меня не обыскали. У меня в кармане было 15 сантимов, и я решился попросить, чтобы он послал купить хотя бы яблок. Он строго сказал: — Уберите ваши деньги, вы знаете, что при себе в тюрьме ничего держать нельзя. — Потом, очевидно вспомнив, что он сам — виновник этого, умолк. Помолчав немного, он сказал: — Я надеюсь, что у вас ничего предосудительного нет. — Я его поспешил успокоить, вывернул сам все свои карманы. Увидев у меня табак, он напомнил, что курить в тюрьме нельзя, но табак не отобрал, заявив: — Курите, но осторожно, чтобы не случилось пожара. — При этом, указав на матрац и подушку, он прибавил: и чтобы при курении дыму не видно было. — Запер меня в камере и ушел.

Минут через 15 он вернулся в сопровождении женщины (потом оказалось, что это была его жена), у которой в руках была полная тарелка дымящейся картошки и маленький кофейник. Поставили мне все это на стол, пожелали всего хорошего и спокойной ночи, заперли меня и ушли.

Я принялся уплетать картошку, а покончив с ней и засыпая подумал, что в такой тюрьме можно было бы сидеть до отправки в Россию.

На другой день начальник дал мне книг, к сожалению на немецком языке, так что я, по незнанию его, воспользоваться ими не мог. Потом он принес мне газеты. Из газет я узнал, что нашим ребятам разрешили ходить в город.

Не помню на какой день моего „отдыха“ в тюрьме, кажется на четвертый, неожиданно меня днем вы-

звали в кабинет начальника. Придя в кабинет, я увидел троих людей, сидевших за столом; один из них, седой старик, повидимому председатель, начал меня допрашивать.

— Как фамилия?

Я ответил.

Потом он молча разглядывал меня. После долгого молчания, старик внезапно спросил меня:

— Скажите, чего вы добиваетесь?

— Ровно ничего, — заявил я.

Он задал еще ряд вопросов; потом опять спросил:

— А что вы намерены делать в будущем и чего ждете?

Я ему ответил:

— Жду, как и все мои товарищи, скорейшей отправки в Россию и не намерен ничего здесь делать, в особенности на болоте, где кроме нас да итальянцев никто за ту похлебку, которую дают, не работает.

Тогда он ехидно заметил: — А неугодно ли вам будет, чтобы мы вас отправили обратно во Францию? — Его сосед, какой-то толстяк, зло захихикал.

Я спокойно возразил, что я не уголовный преступник и обратно во Францию меня отправить не имеют права.

Помолчав немного и изменив тон, старик сказал:

— Ну, раз вы хотите уехать в Россию, мы вас отправим. Довезем до германской границы, а там и Россия.

По его тону и по глазам я почувствовал что-то неладное и резко заявил, что я в Россию поеду тогда, когда поедут товарищи, прибывшие со мной из Франции, а одиночным порядком не поеду.

Меня отправили обратно в камеру. Старик повидимому был важной шишкой, так как тюремный начальник перед ним тянулся, что называется, во-всю.

На шестой день моего ареста, часов в пять вечера, пришел начальник тюрьмы и сказал:

— Пришла телеграмма, чтобы вас освободить из-под стражи.

Распрощавшись с начальником и поблагодарив его за внимание, которое он мне оказал, я через полчаса очутился уже среди своих товарищей.

Я узнал, что за время моего сидения в тюрьме произошло не мало событий. Важнейшим из них был приезд в Швейцарию представителя Совета народных комиссаров, тов. Гольцмана, который, по дошедшим до нас сведениям, принимал решительные меры к нашему освобождению и возвращению на родину.

Вскоре нас увезли из Ивердона в деревушку, где поместили всех в сарае. Спать приходилось на сене. Не было никаких удобств, а работа осталась та же — то же болото, и вычеты шли, как прежде, не уменьшаясь — за квартиру, освещение, отопление и т. д. Это-то в сарае!

На новом нашем местожительстве, в сарае, нам поработать долго не пришлось. Ребята стали все больше возмущаться ухудшившимся положением: необходимо было что-то предпринять, а поговорить с кем-нибудь из эмигрантов не представлялось возможным. Написал я короткое сообщение тов. Батурину. Не знаю, получил ли он его, так как больше мне видеть его не довелось.

Терпение наше наконец лопнуло. Мы решили действовать, как наши головы подсказывают. Устроили общее собрание. Придя с работы, вместо того чтобы спать, стали обсуждать вопрос о нашем положении. Все решительно высказывались, что дальше так работать невозможно. Решили день отработать, а вечером предъявить требования об улучшении нашего положения. Передать эти требования поручили мне и еще двум товарищам.

В субботу после работы мы втроем отправились к начальнику отряда. Он нас принял внешне любезно. Мы обрисовали ему наше положение и сказали, чего мы добиваемся. Он ответил, что поднятых нами вопросов решить не может и срочно выедет, чтобы их выяснить, после чего даст нам ответ. Мы его предупредили, что будем ждать ответа до вечера воскресения, и если результата не будет, то с понедельника на работу не выйдем.

Мы ушли и через некоторое время увидели, как и он выехал.

Воскресенье прошло спокойно. Долго не ложились спать, ожидая, что вот он вернется и сообщит нам ответ. Но не дождались и заснули.

Утром, как всегда, рано засвистел свисток. Ответа повидимому не было. Значит, не следует выходить на работу. Раздались повторные свистки. Показалась голова сержанта. Увидя, что мы одеты, сидим и на работу выходить не думаем, он сначала пробовал шутить: — А мы думали, что вы все умерли.

Потом принял грозный вид и закричал: — А ну, выходи на работу! — Никто не двинулся. Пораженный он ушел. А мы, подождав еще немного и решив, что наши требования находятся видимо еще в „проработке", завалились спать. Часов около двенадцати появился опять сержант и вызвал меня вниз. Я спросил ребят, как поступить? Сказали: — Иди.

Внизу я увидел помимо начальника нашего отряда еще трех офицеров. Недалеко, за углом одного из зданий, я заметил порядочную группу солдат, артиллеристов и карабинеров.

Один из офицеров набросился на меня: — Почему не выходите на работу? — Я передал все, что было сообщено в субботу начальнику отряда, и добавил, что раз нам условия не меняют, то мы от работы отказываемся. Он отдал распоряжение, чтобы все спустились вниз.

Ребят, когда они спустились, построили в две шеренги вдоль дороги. Старший офицер пригласил меня с собой на правый фланг, и попросил спросить у первого по шеренге — будет он работать или нет? Товарищ сам понял вопрос, и ответил по-французски: „non“. Тогда офицер сам стал спрашивать всех по очереди. Все отвечали: нет. Некоторые просто качали отрицательно головой, другие озлобившись говорили по-русски: — Пошел ты...

После опроса офицер отошел в сторону и дал резкий свисток. Со всех сторон выскочили солдаты с карабинами на-перевес и окружили нас. Мы спокойно остались на месте, как будто это было самое заурядное явление. Я не заметил, чтобы это кого-либо удивило. Один даже весело сказал: — Вот это улучшение положения, — а другой добавил: — а прибавка верно будет впереди.

Разбили нас по группам, по шесть человек в каждой, построили по-трое в ряд, как „кавалеристов в спешном строю“. В интервалах между группами было по три конвоира, а кругом весь наш кортеж был окружен еще цепочкой из конвоя. Меня поставили сзади, где шли офицеры, так что, шагая впереди их, я очутился непосредственно под их наблюдением. Такая „любезность“ навела меня на мысль: — А не попались ли мои письма к ним в руки?

Через некоторое время мы увидели каменное четырехэтажное здание. На окнах были массивные решетки. Не прошло и получаса, как мы очутились в одиночных камерах. Сто граммов хлеба, какое-то подобие супа по кружке в день, на второе — что-то непонятное и утром — кружка кипятку — вот все, что нам давалось для питания. А для испытания применялось кое-что другое — например: первоначально с утра посадят в солнечную камеру, до полудня подержат, а потом спускают в подвал да

вдобавок сырой. Эта смена впечатлений изрядно действовала на психику.

Наши ребята на второй же день после знакомства с распорядками тюрьмы и „меню“ заскандалили. Многие объявили голодовку, другие стали сбрасывать подаваемый кипяток; несмотря на запрещение во всех камерах стали петь. Карцеры были переполнены, а пение не прекращалось, пели и в карцерах. Администрация тюрьмы от такой настойчивости пришла в смятение.

На третий день прикатили двое штатских. Около полудня меня и еще нескольких товарищей вызвали из камер. Мы спустились с галереи посреди корпуса. Прибывшие стали с нами беседовать. Представились русскими эмигрантами-революционерами (фамилии их не помню). Одного, как сейчас помню, все поражало, как это мы, русские воины, доступкались до тюрьмы. Говорил он, поглаживая свою большую холеную бороду. „Ну, — подумали мы, — и фразировка же здесь у революционеров“. Они сообщили, что швейцарские власти попросили их съездить к нам выяснить причины нашего отказа от работ и уговорить нас прекратить неповиновение. Мы объяснили им наше положение. Выслушав нас, они опять стали уговаривать нас подчиниться и сейчас же выразить согласие итти на работы.

После того, как кончилась наша беседа, нас отвели по камерам. И они тоже пошли по камерам. Но только не сидеть, как мы, а уговаривать.

Почувствовав скоро, что уговаривания ни к чему не приведут, они пустились на провокацию: — Вот вы упорствуете, а ваши товарищи согласились. Назвали даже фамилии. Это на некоторых подействовало. Человека 15 сдали, и к вечеру они уже были освобождены.

На другой день еще одна группа была освобождена, а на пятый все остальные, за исключе-

нием пяти человек: меня, слесаря Маркова, лекпома Кузнецова и еще двоих товарищей, фамилий которых сейчас не помню. Мы категорически заявили, что на работу на старых условиях не пойдем, и пускай делают с нами, что хотят.

Подняли нас на верхний этаж и посадили в пять одиночек под ряд. Табаку не дали, газет не дали, жрать тоже почти не давали. Мы сидели, да пели песни, да любовались видом на горы. А вид действительно был красивый!

Так мы просидели около месяца. Однажды, уже после проверки, я услышал, как открывают камеры у наших ребят. Дошли до меня, открыли двери, вошло несколько надзирателей, один из них подал мне мои вещички: газету, несколько писем, скопившихся за время, пока мы сидели. Нам объявили, что на следующий день нас отсюда увезут. Двери оставили на несколько часов открытыми, просили только не шуметь, в виду того, что другие заключенные должны спать.

На вопрос, куда нас повезут, нам ответили, что ничего неизвестно.

На ночь все-таки нас опять заперли, а утром подняли рано — отправить нас должны были с первым поездом.

До станции пришлось порядочно итти пешком. Нас сопровождал конвой. Сели мы в поезд, и часам к пяти вечера прибыли в город Фрибург.

Направляли нас куда-то, вроде как к коменданту города или же к градоначальнику.

Мы остановились у дома с широким подъездом.

Старший конвоя ушел наверх. Через некоторое время он с верхней площадки позвал меня. Я поднялся, мне указали на дверь, куда нужно войти. Я открыл дверь. Конвой остался на площадке.

В большом кабинете за столом сидел человек в жандармской форме. На шикарном письменном

столе поблескивал браунинг. Человек в жандармской форме обратился ко мне с вопросом: — Это вы самые бунтовщики и будете? — Я невольно рассмеялся. Он остановил меня: — Вы не смейтесь, потому что я могу вас направить в казарму и может быть разрешу даже иногда ходить вам по городу, если вы и ваши товарищи будете вести себя спокойно, не будете бунтовать и собирать собрания, иначе мне придется посадить вас в тюрьму. Ну, даете слово, что будете держать себя совместно с вашими товарищами спокойно?

Я ответил, что могу отвечать только за то, что есть сейчас, а что будет в будущем — ни я, ни он не знаем. Поэтому, как же заранее за это отвечать?

— Вы не философствуйте, — оборвал он меня, — а давайте мне гарантии. Можете итти!

Я повернулся и вышел. Нас снова взяли под конвой и повели. Прошли мы несколько улиц, переулков, базар и через некоторое время увидели здание казармы. Нам навстречу высыпали наши — русские.

Сдали нас коменданту казармы, какому-то капитану. Ребята отзывались о нем хорошо.

Среди наших ребят в казармах мелькали многие в штатском. Оказалось, это были наши русские военнопленные, прибежавшие из Германии.

В первые дни мы знакомились с комендантом: человек он был верно не плохой, очень сочувствовал нашему положению и готов был при первой возможности помочь нам. Как-то в разговоре мы сказали ему:

— Зря мы здесь сидим без работы. Среди нас есть хлебопашцы, мастеровые, которые себя сумеют прокормить. Чем даром есть хлеб, они работу бы нашли, если бы против этого не возражали и дали бы свободно передвигаться по городу.

Он обещал переговорить с комендантом города и другими властями. Я напомнил, что комендант города сам обещал разрешить ходить по городу.

Вскоре это разрешение пришло, а приисканию работ помогла ярмарка, которая состоялась как раз на площади против казарм. На нее съехалось много крестьян, нами заинтересовались, стали расспрашивать и договариваться. Договоренность оформляли таким образом: нанявшийся на работу заявлял коменданту казарм, что договорился с таким-то, наниматель подтверждал это тут же, оставляя адрес, где должен был товарищ находиться на работе, последний снимался с довольствия и уезжал в тот же день с крестьянином.

Труднее дело обстояло с нами, рабочими. Из нашей пятерки, прибывшей из тюрьмы, двое уже долго ходили в поисках работы. Пошли и мы с Марковым искать тоже. Обошли порядочно мест. К вечеру Марков устроился в небольшой слесарной мастерской, сдал пробу и утром стал на работу.

Прошло восемь дней, как мы прибыли во Фрибург. Возвращаясь вечером из города, я у казармы столкнулся с Рамзаем, которого мы видели в роли переводчика в Лозанне и которого во многом подозревали уже тогда.

Увидев меня, он остановился:

— Козлов, как вы здесь очутились?

— Как и все мои товарищи, — ответил я, — а вот мне непонятно, как только где-нибудь появляются русские, там уже вертится Рамзай, как будто ему, рядовому солдату, нет места при своей части.

Он злобно посмотрел на меня и ушел.

А через день, к вечеру, часов около пяти, когда я пришел в казарму, товарищи мне сообщили, что меня несколько раз спрашивал комендант казарм и передал, чтобы я явился к нему.

Я отправился, нашел его у себя в кабинете, он поздоровался и долго не начинал разговора.

— Вы меня вызывали? — спросил я. Он почему-то покраснел, ему как будто было не по себе, и торопливо заговорил: — Сообщаю вам очень неприятную новость: я вас должен вместе с вашими четырьмя товарищами сейчас же взять под арест. — Я осведомился, чем это вызвано и каковы мотивы ареста. Он достал из письменного стола пакет и вынул из конверта бумагу:

— Мне очень неприятно это делать, причины ареста мне неизвестны, вот видите — я получил распоряжение от своего начальства вас пятерых арестовать и содержать до завтрашнего дня, когда за вами приедут. Вы понимаете, что я, как солдат, должен выполнить распоряжение. Повторяю, мне непонятен ваш арест. Думаю, что все это скоро выяснится и вас освободят. Единственное, что я могу для вас сделать — это не арестовывать вас до завтрашнего дня, если вы дадите честное слово, что не убежите, и чего-нибудь не наделаете.

Я ему ответил, что честное слово мне давать незачем, так как не все ли равно — сегодня нас арестуют или завтра. Безобразить мы не безобразили и не предполагаем, так что — дело его, арестовывать нас сейчас или нет.

— Да, а как же будет с моими товарищами, часть из них уже поступила на работу?

Он сообщил, что за ними уже послали из жандармерии и к вечеру их сюда доставят.

В заключение я обратился к нему с вопросом: — куда же мне отправляться сейчас?

Он, походив немного около стола, сказал: — Идите к себе в казарму, никуда не отлучайтесь, передайте это своим товарищам, когда их доставят. Я вас все-таки до завтра арестовывать не буду, я уверен, что вы меня не подведете.

Я пошел к себе на койку, в казарму. „Что за чертовщина, чем это вызвано, и откуда такое распоряжение?“ — думал я и никак не мог найти причину внезапного распоряжения об аресте. За последние дни, проведенные во Фрибурге, никаких конфликтов ни с кем не было, наоборот, положение вещей как-будто бы улучшилось. Мы себя чувствовали посвободнее, стало возможно понемногу устраиваться на работу. Связей в городе у нас никаких еще не было, если не считать, что в одно из воскресений мы в компании рабочих-каменьщиков и других, по их приглашению, совершили прогулку в окрестности города и вместе снялись на висячем мосту. В общем до причин я так и не мог додуматься.

Скоро пришел Марков. Я из казармы услышал, как он ругался на улице. Я выглянул в окно — он шел в сопровождении жандарма, со своими пожитками, умещавшимися на одной руке, и, перемешивая русские фразы с французскими, самосильно крыл сопровождающего. Он влетел в казарму и закричал: — Где Козлов? — Увидев меня, он бросил на койку свои пожитки: — Иди, выясни в чем дело и объясни этому дьяволу-жандарму, что я по разрешению выехал из казармы и поступил на работу. Сам же ты устраивал, вместе договаривались, что ж он пристал ко мне?

Несмотря на то, что смеяться было не время, я невольно рассмеялся: — Садись, успокойся, на работу тебе завтра итти не надо, а отправимся мы все пять человек туда, откуда недавно прибыли. Он вытаращил глаза и, думая, что я шучу, стал теперь ругать меня.

Прибытие других товарищей немного его успокоило, и он стал рассказывать, как после обеда в мастерскую пришел жандарм и поговорил с владельцем мастерской, а после окончания работы хозяин принес деньги и сказал: — Завтра на работу

приходить не нужно. Марков спросил: — Разве работа кончилась? — Тот ответил утвердительно и он ушел домой. Придя к себе, он умылся; поверив, что работа, которая была временной, теперь кончилась, купил с „получки“ продуктов и собирался к нам в казарму, чтобы совместно с нами на другой день вновь искать работу. В это время к нему пришел жандарм и стал объяснять, чтобы он следовал за ним, и что он арестован. Марков отказался следовать за ним, сел и сказал, что не пойдет никуда. Жандарм собрал все его вещи и заявил, что он обязан доставить его к нам в казарму. Тогда только Марков пошел, но всю дорогу „костил“ жандарма, полагая, что здесь была какая-то ошибка.

После того, как ребята обменялись впечатлениями, я передал им разговор с комендантом. Все были удивлены, но никто, также как и я, объяснить наш арест никак не могли. Решили, что это явление временное, и вероятно все скоро выяснится. Я рассказал еще про встречу с Рамзаем и высказал подозрение, что без его участия дело не обошлось. Со мной все согласились.

Наутро, нас пятерых спустили в канцелярию, где уже находились комендант, семеро конвоиров и... Рамзай, с веселой, улыбающейся физиономией. Он с притворной, насмешливой улыбкой обратился к нам: — Ну, как вы себя чувствуете? — Я ответил за всех: — Ничего, и тебе того желаем. — Кто-то из ребят добавил: — Свернуть бы тебе, поганцу, голову надо — дело лучше было бы.

Подозрение наше, что Рамзай в этом деле сыграл какую-то роль, подтверждалось.

Комендант подписал бумаги, потом положил их в конверт, запечатал его и вручил конвою. Такой же пакет он дал Рамзаю. Тот, хотя и соблюдал чинопочитание по отношению к коменданту, но вел себя вызывающе, отнюдь не так, как подобало

рядовому в обращении с офицером при исполнении служебных обязанностей. Комендант смотрел на него спокойно, но, как мы заметили, с какой-то брезгливостью.

Когда все формальности были закончены, послав зачем-то Рамзая, он пожелал нам счастливого пути и, в конце концов, скорей добраться до России.

— Надеюсь, — сказал он, — здесь вы плохого ничего не видели, а что сейчас произошло, зависит не от меня и я не в силах что-либо сделать для вас. — Он распрощался с нами и отдал распоряжение двигаться. Мы вышли на улицу, нас взяли в кольцо. Комендант взял под козырек, повернулся и ушел.

Рамзай стал опять издеваться над нами: — Ну, ну, счастливо, а недолго же вы поблаженствовали в казармах! — Ему ответили таким „матом", что сейчас даже совестно вспомнить. Он съежился и после этого уже ничего не говорил и шел на расстоянии шагов пятидесяти сзади.

Вокзал, опять поезд, сидели мы уже в вагонах, а на платформе все еще маячила противная фигура Рамзая — пока поезд не тронулся, он находился там.

Часам к двум дня нас высадили на небольшой станции. От станции до места нашего назначения нужно было итти пешком. Мы попытались у конвоиров узнать, куда они нас сопровождают. Они ответили: — В Витцвиль. — Все громко засмеялись. — А что это еще за место? — Многозначительное: — О-о-о, там бунтовать не дадут, а работать заставят.

Мы подошли к воротам. Увидели что-то похожее на большое имение — различные хозяйственные постройки, огородные грядки и т. д. Но через несколько десятков шагов заметили на окнах одного из зданий солидные решетки. Лицо имения исчезло, появилось лицо тюрьмы.

В здании, в обыкновенной тюремной канцелярии сидели три здоровенных надзирателей в растегну-

тых мундирах. При нашем появлении они чинно встали, застегивая мундиры, и уселись за стол. Конвой сдал пакет, они расписались.

Сидевший посредине молодой, высокий и здоровый надзиратель обратился к нам с какими-то вопросами на немецком языке. Видя, что мы по-немецки не понимаем, он спросил: — А по-французски понимаете? — Ответили утвердительно и он прочитал нам чуть ли не лекцию о том, что немецкий язык лучше французского и что только одни дураки его не изучают, и так далее в таком же духе. Потом нам предложили выложить из карманов все, что в них имелось, все вынутое записали на карточки, после чего нас вывели в соседнюю комнату.

Минут через пять стали вызывать по одному. Я пошел вторым. Вошел — увидел: посредине поставлена скамейка, а около нее стоит человек с машинкой для стрижки волос. Взглянул я в другой угол и едва узнал своего товарища: сидит „бритый" и переодетый в арестантское платье.

Я спросил: — Что будете делать?

— Разве не видишь? Стричь волосы и переодевать.

— Мы еще не осужденные, — возразил я, — нам даже не объяснили, за что нас отправили сюда, а вы с нами обращаетесь уже как с арестантами. На это вы не имеете права, а потому не буду надевать вашу одежду и не дам себя постричь.

Надзиратели сперва как-будто бы опешили. Но один из них вдруг стукнул кулаком по столу и закричал: — Правила для всех у нас одинаковые и здесь не разговаривать!

Я оборвал его: — Не кричите, как фельдфебель, мы не боимся. (Потом оказалось, что он был действительно фельфебелем). Он разъярился еще сильнее, сказал что-то своим приятелям и они трое направились ко мне: — Будешь стричь волосы?

Сидевший товарищ посоветовал мне: — Брось, Козлов, пусть стригут, иначе силой это проделают, а при сопротивлении только зря бока помнут.

Сообразив, что в самом деле, так и получится, я согласился и сел на скамейку. Надзиратели, довольные, рассмеялись.

Ну, и надрал же мне голову во время этой стрижки парикмахер! Потом напялили на меня синие штаны, короткую куртку и сразу вывели. Привели в тюремное помещение и впихнули в камеру.

Камера, в которой я очутился, была почти квадратной, она имела не больше, чем два небольших шага в ширину и в длину, окон в ней не было, лишь наверху, высоко, блестело нечто в роде вентилятора, и там же была вставлена электролампа. В одну из стен была вделана узкая скамейка, вот и все. Дверь так плотно закрывалась, что изнутри она была едва-едва заметна. Отсутствовало даже традиционное „очко". Положение было не из важных. Только каких-нибудь сорок минут назад любовался хорошей погодой, дышал свежим воздухом, а теперь как в склепе... А что с ребятами? И сколько нас здесь будут держать?

Время тянулось томительно долго.

Единственным живым существом в камере была муха. Она не могла найти себе выхода и жужжала. Больше ни откуда не было слышно ни звука, но и ее жужжание раздражало. Я начал было охотиться за ней. Но вдруг погас свет. Я попытался стучать в дверь, в стены, но никто ни откуда не откликался. Нащупал скамейку, пристроился на ней вздремнуть, но через некоторое время свет опять вспыхнул. Так проделывалось несколько раз — то зажгут, то потушат. Это очень изводило.

Продержали меня так часа четыре, потом выпустили. Товарищи мои подвергнулись такой же участи.

Вслед за этим нас доставили в другое помещение. Четверых посадили вместе, а пятого изолировали. В новой камере стояли четыре кровати, были соломенные тюфяки, подушки, одеяла. Окно было, хотя и с крепкими решетками, но широкое, и воздуха имелось достаточно.

Мы узнали, что здесь уже находились несколько наших товарищей, доставленных раньше из других мест.

Утром нас разбудил резкий свисток по коридору. Через четверть часа уже было слышно, как спускались вниз люди. Мы посмотрели в окно и увидели наших товарищей. Их было человек пятнадцать, все в таком же облачении, как и мы, с кирками и заступами отправлялись на работу.

Вошел надзиратель и начал выгонять нас на работу. Мы отказывались, не шли, ребята кричали снизу:— Бросьте, выходите, все равно заставят силой, мы тоже пробовали...— Прибежали еще несколько надзирателей. Несмотря на их требование спуститься вниз, мы не двигались с места. Внизу беспрестанно свистел фельдфебель, который нас накануне принимал. Наш „корпус" был подчинен ему. Он даже не хотел разговаривать, все свистел. Но когда надзиратели доложили ему, что мы не выходим, он яростно на них закричал, выхватил револьвер, те также вынули из кобур свои, ворвались все к нам в камеру и заставили спуститься вниз.

Построили всех нас в две шеренги, просчитали и под надзором повели на работу. Таково было начало, так протекало и дальше наше пребывание в Витцвиле.

От товарищей мы узнали, что они пробовали принимать всевозможные меры, чтобы добиться чего-либо, но все было безрезультатно.

Двое товарищей пытались бежать, но неудачно. Из Витцвиля они сумели выбраться. По дороге за-

шли к одному крестьянину, чтобы достать что-либо съедобного. Тот поставил перед ними молоко и хлеб, но не успели они даже перекусить, как услужливый крестьянин сообщил куда следует. Явился жандарм и арестовал их, а на другой день они сидели в карцере.

Помню, однажды пололи морковь, незаметно выдергивали ее из земли и ели, а зелень обратно втыкали в землю. Надзиратели это заметили и несколько человек угодили тоже в карцер.

Оказалась, что и надзиратели сами отбывают наказание за различные проступки, сделанные на военной службе. Нам стало ясно, почему они так обращались с нами и почему выжимали из нас все. Этим они хотели заслужить себе сокращение срока наказания. Ничего себе система!

Все эти условия заставили нас объявить голодовку. На работах незаметно договорились обо всем. Решили добиваться более сносного режима, газет, книг и требовать приезда кого-либо из властей, чтобы узнать, за что нас посадили и сколько нам здесь еще сидеть.

Голодовка продолжалась несколько дней. Она вызвала у администрации сперва недоумение, потом ярость. Наконец надзиратели согласились удовлетворить наши требования. Но удовлетворили они их совсем не так, как нам этого хотелось. В качестве представителя власти к нам явился начальник Витцвиля или, как они его мягко называли, директор, который обещал принять всевозможные меры, чтобы выяснить наше положение и узнать, почему нас направили сюда. Потом, спустя несколько дней, приехал какой-то профессор и нас всех собрали в помещении церкви, где он начал нам читать лекцию. Ото всех наших вопросов он отмахнулся заявлением, что он приехал только прочитать нам лекцию и больше ничего. В начале своей лекции он сказал:—

Если бы вы вели себя послушно, конечно сюда бы вас не отправили.— Вся его лекция была построена на призыве к послушанию и была проникнута монархическим настроением. Многие товарищи не нашли ничего лучшего, как вздремнуть и так крепко, что, когда лекция кончилась, некоторых пришлось будить.

По воскресеньям нам разрешили прогулку в течение часа. На определенное время стали оставлять камеры открытыми, так что мы могли, хотя и в течение небольшого промежутка времени, общаться между собою.

Корреспонденцию не разрешили, а вместо книг и журналов доставили нам годовой комплект старого журнала „Русский паломник". Мы запротестовали, но нам заявили, что у них ничего нет на русском языке. Мы им дали адреса, по которым можно было получить книги для нас, но нам ответили, что это едва ли возможно. Безусловно у них не было и этого благочестивого журнала „Паломник", где описывались все святые места и жития святых, а повидимому они обратились в старую миссию, где им и всучили эту, с позволения сказать, „литературу".

Наша голодовка подействовала еще и в том отношении, что меньше стало придирок и репрессий, наконец, мы реже стали сидеть без табаку. Надзор вероятно заметил, что у нас нарастала решимость и боялся, как бы она не прорвалась, чувствуя, что мы готовы на все, даже на безрассудное.

Мы продолжали сидеть за решеткой, работы искать не надо было, на нее гоняли силой, да еще покрикивали, если кто-либо заглядывался на горы...

С журналом „Русский паломник" у нас дело подвигалось быстро, но не в смысле чтения, а в смысле его истребления на „цыгарки".

Положение не изменялось, многие стали думать о побеге, некоторые предлагали совершить побег груп-

повой, даже связать надзор, чтобы не смогли скоро устроить погоню, но стоял вопрос: куда? Мы знали, что „хрен редьки не слаще“ — куда ни направляйся, нигде лучше не будет. А до России было далеко.

Оставалась только одна надежда — на помощь извне. Думалось, что советское правительство знает, где мы находимся и примет меры, когда придет время. Избавление пришло неожиданно. 25 июня, когда мы пришли с работы, нам была передана записка краткого содержания: „Товарищи! Через некоторое время вы едете в Россию, пока будьте спокойны, подробности на-днях. Привет“. Сперва все остолбенели, а потом, как-будто сговорившись, во все горло закричали: ур-р-р-а!

На наши крики вбежал в переполохе надзор во главе с фельдфебелем, с револьверами в руках. Они вообразили, что это бунт, но остановились в изумлении, так как многие из нас плясали, другие весело переговаривались.

Фельдфебель спросил, в чем дело. Ему ответили: — В Россию едем! Прощай Витцвиль! — Попутно попробовали узнать, что ему известно. Вместо ответа он вложил в рот свисток и засвистел. Это означало: забирай ужин и по камерам! Его приказание было исполнено не сразу. Товарищи долго не обращали внимания даже на то, что надзиратели свистели в несколько свистков — настолько все были обрадованы. Надзору пришлось многих разводить по камерам.

Фельдфебелю очевидно известно было гораздо больше, чем нам, что было заметно и по его физиономии и по его действиям. В обыкновенное время наша выходка так просто не сошла бы с рук, да и орал он теперь уже не так грубо.

На другой день пошли на работу в обычном порядке. Настроение было веселое, проработали до обеда, а когда привели на обед, нам объявили,

что после обеда на работу не пойдем, так как нужно выколотить одежду, которую мы носили, сдать ее и получить свою.

Когда мы покончили с одеждой и с обувью, нам дали бритвы, чтобы мы смогли привести себя в человеческий вид. К ужину все уже было готово...

Ночью никто не спал. Некоторые все еще сомневались, думая, что нас везут не в Россию, а просто куда-нибудь в другое место.

На следующий день рано утром нам вручили консервы и хлеб из расчета на два дня. Надзор пожелал нам счастливого пути, а некоторые наши ребята пожелали им отправиться к чертовой матери за „хорошее“ их оношение.

Нас принял конвой, и мы зашагали на станцию.

Поезд доставил нас в Берн, где конвой проводил нас по станционным платформам к другому поезду. Платформа перед ним была вся очищена от публики. Вдоль всего состава с обеих сторон цепочкой были расставлены часовые.

Когда мы появились на платформе, к нам бросилась часть публики с пакетами и письмами, но конвой предупредительно выставил винтовки. Расчистили дорогу. Передачу и письма, которые нам хотели передать, не приняли.

Публика нас приветствовала, большинство что-то кричала по-русски, но из-за общего шума ничего нельзя было понять.

Едва мы подошли к составу, как оттуда изо всех окон высунулись головы наших товарищей. Оказалось, что всех наших товарищей уже свезли со всех сторон, со всех работ, и поезд уже был готов к отправке. Задержка была только из-за того, что мы запоздали.

Процедура передачи нас одним конвоем другому совершилась быстро. Проверили по списку, просчитали, и мы вошли в вагоны, где нас встретили

товарищи. От радости, что опять все были вместе, на свободе, а главное, что та цель, к которой стремились, близка — кружилась голова.

В это время прицепили паровоз, конвой сел в вагоны, публику уже сдерживали местные жандармы. Лес рук замахал платками, шляпами, и поезд, тихо трогаясь, начинал отходить под крики: — Счастливого пути! Привет России!

Долго еще видна была толпа, пока все не скрылось за поворотом.

Скоро мы были уже в городе Шафгаузене. Поместили нас в каком-то огромном сарае, но мы теперь на обстановку не обращали никакого внимания. Население города отнеслось неплохо к нам и чем могло помогало: хлеб, несмотря на карточную систему, доставляли буханками. Пока нас вели с вокзала, мальчишки снабжали нас чем угодно, шагая с нами рядом. Им давали деньги, они забегали быстро в магазин, покупали что нужно, догоняли и вручали по принадлежности. Конвой на все это смотрел сквозь пальцы и ни один франк не пропал. Один мальчик по просьбе кому-то купил плитку шоколаду и не нашел потом того, кто ему это поручил, так он вечером принес шоколад в сарай, но и там не нашел владельца плитки шоколада. Нам с трудом удалось его уговорить взять шоколад себе.

Из наших товарищей кое-кто имел деньги, правда небольшие, полученные за работу в различных местах. Они закупили на дорогу съедобного еще на месте работ. Других, которые работали в деревнях, крестьяне снабдили сыром и другими продуктами. Лишь мы, 27 человек из Витцвиля, не имели ничего. Но ребята сразу, как только мы сели в вагоны, взяли нас на свое „иждивение".

В Шафгаузене сначала нам не сказали, когда нас отправят дальше. Это было еще неизвестно — дело зависело от Германии, от ее согласия на наш про-

пуск, но уже к вечеру сообщили, что вероятно едем завтра. Предполагая, что при переезде границы будет досмотр, я стал придумывать, куда девать все мои записи, документы, газеты, которые я подбирал, снимки, хотелось во что бы то ни стало доставить все это в Россию. Я решил проделать следующее: у меня была пара чистых портянок, но все они были в пятнах от кожи русских сапог, отчего и вид у них получился не очень аппетитный. Все бумаги, да еще две полуфунтовых пачки табаку, которыми снабдили меня ребята, я завернул в эти портянки, надеясь на то, что из-за их неблагоприятного вида их побрезгают развертывать. Так оно и случилось. Когда за следующий день досмотрщик просмотрел мои вещи, он указал на лежащий рядом пакет и спросил: — А это что здесь? — Я ответил: — Грязное белье, завернутое в портянки... — Он хотел сначала посмотреть, но потом перешел к следующему. Бумаги были спасены.

По окончании досмотра нас всех перестроили. Конвой снова окружил нас, и мы прошли к мосту, который соединял Германию с Швейцарией. Через некоторое время нас небольшими группами провели по мосту, пересчитали, проверили и посадили в вагоны. Вокруг вагонов выстроился уже немецкий конвой...

Так просто все совершилось. Быстро, в несколько часов, остались позади и издевательство, и глумление, и болото с „оздоровительными“ работами на них, и Витцвиль, и фельдфебельские крики, и бесконечное тюремное мытарство.

Мы чувствовали кому были обязаны своим освобождением от всего этого. Мы знали, что нашего спасения добилось молодое советское правительство. Оно сделало то, что проданные за снаряды, как рабы, как пушечное мясо, мы получили свободу.

Мы возращались в нашу страну советов...

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

В Россию

Наконец проверка кончена, все оформлено. Свистки. Конвой, охранявший состав поезда, сел и поезд тронулся.

Прощай, „старейшая демократическая страна“, спасибо тебе за убежище, которое так дорого нам обошлось, твои болота не забудутся долго!..

В вагонах мы были посажены по пять человек в купе и шестой — немецкий часовой с винтовкой. По проходу прохаживался иногда еще один, который делал всяческие указания конвоирам. Сперва конвоиры относились к нам сугубо строго и осторожно, но через несколько часов езды изменили свою манеру. Наши попытки заговорить увенчались успехом, и уже дальше мы ехали, ведя разговоры. Объяснялись кое-как на смешанном наречии из русских, французских и немецких слов. Убедившись, что мы из себя ничего страшного не представляем, конвоиры иногда даже ставили свои винтовки в угол и закуривали швейцарский табачок. Все они почти перебывали на фронте, некоторые из них по нескольку раз были ранены, видно было, что война им самим надоела — в разговоре у них то и дело проскальзывало, что вот, мол, вас сконвоируем, а потом как бы опять на фронт не послали.

В нашем купе находился конвоир лет тридцати с интеллигентным лицом. Он все расспрашивал, какие русские полки были в бою под Реймсом. Мы ему ответили. Тогда он спросил: — А среди вас есть кто-либо из этих полков? — Большинство нас были как раз из этих полков.

— И я был под Реймсом, — сказал он, — и дрался против русских, и был ранен там.

С этими словами он поспешно расстегнул мундир и показал на плечо, где был еще не совсем заживший рубец.

— Ранили меня русские, и я может быть ранил кого-либо, а теперь сидим вот вместе и никакой злобы не чувствуем, — задумчиво закончил он.

Нам стало очень неловко, мы поспешили его уверить, что и мы тоже никакой злобы не питаем и что некоторые из нас тоже ранены.

— Да, проклятая война, кто ее только выдумал! — воскликнул он...

Замелькали деревушки, города маленькие и большие, но, где мы ни проезжали, везде бросалось в глаза какое-то безлюдье. Особенно это было заметно в больших городах и на больших станциях. Несколько человек — вот и вся публика на станции, и то большинство из них были женщины или же инвалиды.

Когда еще переправляли нас через границу, я уже чувствовал себя плохо, но крепился, думая, что это временно. Однако, как ни крепился, ослабевший организм не выдержал и я еле таскал ноги.

В середине дня мы прибыли на какую-то крупную станцию, поезд наш отвели на запас к баракам, и нас стали выводить из вагонов и направлять в эти бараки. Вводили по нескольку человек со всеми имевшимися вещами. Когда ввели нашу группу, мы увидели, что находимся в комнате вроде канцелярии, где было несколько человек в форме. Среди них был офицер, который отдавал распоряжения. На полу была набросана куча вещей обиходного характера. Оказалось, производился обыск.

Нам предложили развернуть наши пакеты.

Один из чиновников стал проверять мои пакеты, за них я не боялся — кроме нескольких рубашек, носков, носовых платков у меня ничего не было,

мелькала мысль: неужели портянки не спасут опять? На этот раз не спасли!

Посмотрев белье, чиновник стал развертывать портянки, табак отложил к белью, а фотокарточки, дневники, записи, газеты, полетели на пол в общую кучу... Я, несмотря на окрики, подскочил к нему и стал кричать по-русски: — Что вы делаете? Почему отбираете? Это же не ценности и это вам совершенно не нужно! — Чиновник схватил меня и потащил к офицеру. Я стал просить офицера оставить мне мои бумаги и вместо них забрать белье. Тот не стал даже со мной разговаривать и толкнул все ногой в общую кучу.

Это меня так разозлило, что я, совершенно не помня себя, стал ругать его всеми ругательствами, какие я только знал на немецком языке. Бывшие со мной ребята тоже „забузили“, чиновники куда-то выскочили, офицер весь красный, размахивая кулаками, кричал яростно что-то, потом бросился тоже за дверь. Я воспользовался этим, схватил с пола часть своих бумаг и засунул под брюки, за кушак. Только-что хотел забрать и остальное, как дверь распахнулась, вбежал конвой с винтовками на-перевес, а офицер, разъяренный, лично стал нас кулаками вышвыривать за дверь. Нас окружили и отвели в вагон.

Когда поезд тронулся от этой злополучной остановки, конвоиры стали спрашивать нас, почему получился такой скандал? Мы им рассказали, тогда они нас упрекнули, почему мы их не предупредили, что у нас имелись вещи, которые нам были так дороги — они могли бы их сохранить на время обыска у себя. Но кто из нас это знал, и кто ожидал обыска?

К вечеру мне стало совсем плохо, и я уже не был в состоянии даже сидеть. Ребята, увидев это, принесли чью-то шинель, завернули меня, но положить

меня было негде, так как, хотя мы ехали в пассажирских вагонах, но полок для лежания, как в русских вагонах, не имелось. Поэтому решили устроить меня в сетке для багажа, несмотря на то, что она была слишком узка. Так мне больше сойти с нее и не пришлось вплоть до Двинска. Не ел ничего, и никакой медицинской помощи не оказывалось. Свалились вместе со мной еще несколько человек и лежали тоже в таком же положении. Когда мы прибыли в Двинск, который тоже был под вильгельмовским владычеством, нас оповестили, что здесь состоится наш обмен. Ребята обрадовались. Наконец-то!

Стали выводить нас из вагона, тех, кто не мог двигаться, вынесли на руках. Всех сгруппировали около состава, нас положили на сложенные шпалы. Нужно было еще проделать какие-то формальности.

Конвоиры дружелюбно прощались с нами.

Вдруг показалась толпа народа, она шла по направлению к поезду, на котором мы прибыли. Не доходя нескольких саженей, все остановились и стали спрашивать нас: кто мы такие, откуда едем и куда? Товарищи коротко ответили. Когда толпа узнала, что мы едем в Россию, из ее рядов посыпался на нас ряд упреков и насмешек: — Нужно быть последними дураками на свете, чтобы ехать в Россию, когда все порядочные люди бегут оттуда. Там сейчас властвуют разбойники, хулиганы и бандиты, там нечего есть, голод ужасный, люди умирают, люди бегут оттуда, а вы возвращаетесь туда, где кроме разрухи ничего нет.

Товарищи стали возражать:—Что касается бандитов — так это понятие растяжимое. Мы их немало видели и во Франции и в Швейцарии, ну, а к голоду нам не привыкать. Сено будем есть, но не из-под палки.

Скоро мы узнали, что это были за люди. Оказалось, были это те, на кого нас обменивали, кого

нужно было выбросить вон из России, как ненужный хлам. Для нас стали ясны все их насмешки и ругательства.

В это время к нам подошли лица немецкого командования, в сопровождении нескольких русских в офицерской форме, с погонами и нескольких сестер милосердия. Началась приемка нас. Появились санитары с носилками и нас, больных, забрали в первую очередь. Нас поместили в вагоны, носившие название „для тяжело раненых", остальных товарищей — в другие вагоны пассажирского типа, где каждому было отведено отдельное место, на котором лежали тюфяк, одеяло и подушка. Тут мы впервые могли поговорить с людьми, прибывшими из России специально за нами. Дежурная сестра однако запретила нам разговаривать и велела лежать спокойно. Пришел врач, осмотрел нас, нам оказали первую помощь различными микстурами и напоили горячим чаем, которого мы долгое время не пили, как долгое время не знали и медицинской помощи. Из окна мы видели, как усаживались в тот поезд, который привез нас, те, кого революция выкинула за борт. „Скатертью дорога вам!" — подумали многие из нас.

Посадка наша кончилась, стали раздавать ужин: суп с селедкой и второе, а также чай. Ребята уплетали, что называется, за обе щеки. Из нас, больных, никто почти ничего не ел, хотя нам пища была дана молочная, легкая. Приходили товарищи из вагонов, предлагали нам шоколад, сыр, что у кого осталось, информировали нас обо всем, что они уже узнали. Вся дорога от Двинска была без приключений, за исключением станции Остров. Здесь, как только остановился поезд, мы увидели на перроне целую депутацию. Кто-то повидимому заранее оповестил о нашем проезде. Во главе депутации была куча попов с иконами, остальная публика тоже соответ-

ствовала им, повидимому это было местное купечество. У них в руках был хлеб и еще какие-то кульки и четверти с молоком. Со всеми этими принадлежностями они вошли и рассыпались по вагонам. Попы стали благословлять, а другие раздавать хлеб, молоко, яйца, но натолкнулись на неблагоприятное с нашей стороны отношение. Никто не хотел итти под благословение и прикладываться к иконам, в других же вагонах попов просто встретили возгласами: — Куда прете, долгогривые? — и еще более крепкими выражениями. Некоторые даже закрыли двери вагонов и не пускали непрошенных гостей. Такой прием привел их сперва в растерянное состояние, но потом они быстро оправились и стали тоже ругаться. Попы орудовали яростнее всех, после постигшей их неудачи они потеряли все свое поповское „достоинство" и „обличие", и стали выкрикивать своим спутникам: — Не давайте им ничего, отберите, что уже дали, проклянуть их надо, — и т. д. Все это вызвало у нас хохот, под раскаты которого они очистили вагоны. Поезд тронулся под яростные выкрики и потрясание кулаками по нашему адресу.

Ехали, ехали, где же граница? Подъехали к Пскову, все те же немцы, в чем дело? И только после Пскова — внезапная остановка. Около вагонов шли какие-то разговоры. Наконец выяснили, что это ст. Торошино — граница. По вагону прошли в последний раз немецкие солдаты. Простояли десять минут, и поезд двинулся. Наконец-то мы в РСФСР!

Мы подъезжали к Петрограду. На четвертой версте поезд остановился. Стояли несколько часов, потом прицепили паровоз, и нас вместо Варшавского вокзала по передаточной привезли на Финляндский.

Поезд подходил к перрону, оттуда неслись звуки музыки. Нас вынесли на носилках, сзади были все остальные товарищи. С обеих сторон был выстроен латышский батальон с красными знаменами, с ор-

кестром музыки. Навстречу нам шли делегаты. Один из них, рабочий, выступил немного вперед и начал говорить.

Тут случилось со мною что-то непонятное. Должно быть сказалось все пережитое за последнее время, напряженные нервы не выдержали или же я был в болезненном состоянии и организм мой ослабел, но только, когда заговорил рабочий, я оглянулся кругом и ничего понять не мог. Близкие лица, красные знамена, рабочий говорит, его голос — то ласковый, то громкий, как-будто ругает кого-то, поворачиваю голову — вижу фабричные трубы, думаю: „Наверно арсенал",— а кругом народ, много народу, в глазах у меня замелькали разноцветные круги, точки... как сквозь сон слышу — товарищи кричат: „Ура!" Потом все кругом сливается и опять ничего не соображаю. Четкая команда: — „Слушай, на-караул!" Вижу, как перебрасываются винтовки в руках красногвардейцев, носилки поднимают, оркестр играет Интернационал, звуки которого слышу впервые в исполнении оркестра...

Тронулись вперед, мимо пронесли знамена, одно из них задело меня по лицу, и опять пошли круги перед глазами...

Очнулся я в бараке на эвакпункте. Около меня стояла сестра и настойчиво предлагала выпить чего-то.

Скоро нас взяли из бараков и на трамваях доставили в госпиталь.

Через несколько дней все товарищи разъехались по своим домам, чтобы повидаться с родными, которых не видали много лет. У некоторых встреча была радостная, у других — печальная, а то и не было никакой, так как часть из нас даже не нашла своих родных, которые за время империалистической войны перебрались в другие места. У иных родные находились в оккупированных зонах или же умерли.

Вышел и я из госпиталя. Комиссия освободила меня от военной службы. Стал разыскивать свою старуху-мать и сестру, которых не видал так долго и которые не имели больше года известий обо мне и считали меня уже погибшим. Встретился с товарищами, с которыми работал до войны. Многие из них служили теперь в Красной армии. Через месяц, отдохнув немного, и я пошел добровольцем в ряды Красной армии...

ОГЛАВЛЕНИЕ



